



003517

84 (2Рос-4Кем) /
В 58



ВЛАДИМИР
ВЛАСОВ

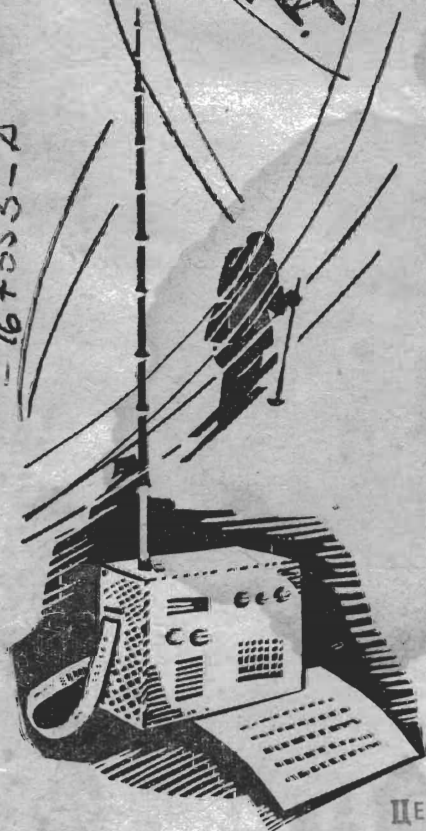
ЗАВТРА СВЯЗИ НЕ БУДЕТ

Рассказы

ОКМ БК

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА
Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

- 167353 - А



КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТОК
СРОКОВ ВОЗВРАТА

КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ
УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ СРОКА

Колич. пред. выдач. _____

3 ТМО Т. 3.600.000 З. 852—87

Власов В. А.

В 58 Завтра связи не будет. Рассказы. Предисловие
В. Мазаева. Художник В. Климов. Кемерово. Ке-
меровское книжное издательство. 1972.

92 стр. 15000 экз. 15 коп.

Первая книга рассказов геолога Владимира Власова написана им на основе лично пережитого. Трудно и даже трагично сложилась жизнь автора этой книги, но тяжелые испытания не сломили его, в рассказах Власова, полных веры в человека, живут и действуют люди сильные и по-настоящему добрые.

7-3-2

24-М-72

P2



Об авторе этой книги

В начале лета 1950 года из Новокузнецка вышел отряд геологов и взял направление на северо-восток, в район Кузнецкого Алатау, к далеким и малоисследованным отрогам Большого Каныма. Перед геологами стояла цель: разведать и уточнить запасы железной руды, открытой там еще в довоенные годы.

В составе отряда шел студент горного техникума Владимир Власов. Это была его первая полевая практика.

Вечером на привале, лежа в спальнике, Владимир прислушивался к незнакомым голосам тайги — пisku летучих мышей, гулкому кашлю марала, шороху падающих шишек. Прямо перед глазами темнела скала; в расселинах камня там и сям тор-

чали деревья — пихты, кедры. Скрученные, изуродованные ветрами и морозами, они чернели на фоне угасающего неба, как поднятые в мольбе руки, как один немой вопль: удержаться! Удержаться!

Владимир смотрел и боялся закрыть глаза. После войны минуло уже пять лет, а он, ложась спать, страшился прихода снов. Днем он еще справлялся со своей памятью. А ночью вместе со сном возвращались кошмары. Каждую ночь он обречен был заново переживать то, что когда-то пережил наяву...

В 1942 году Владимир Власов был призван в армию и стал бойцом только что сформированного в прифронтовой полосе батальона (жил он в Донбассе). Судьба батальона сложилась нелегко. Его не успели вооружить, и он, оказавшись на пути внезапного прорыва немцев, был рассеян. Безоружные ребята попали в плен.

И началось для семнадцатилетнего Власова хождение по кругам фашистского ада: концлагеря Ростова, Таганрога, Бахольта, Кельна. В Кельне — рабочая команда завода, побег с группой товарищей. Перед самой границей Швейцарии, куда они хотели уйти, их поймали. Потом — военно-полевой суд, гестапо, приговор: пожизненная каторга. Потом тюрьмы Ахена, Дюссельдорфа, Гановера и наконец печально знаменитый концлагерь Заксенхаузен под Берлином.

Два года в Заксенхаузене, лагере, который считался у фашистов «экспериментальным» (в нем гитлеровцы испытывали свои новинки по истязанию и умерщвлению людей) — это сотни дней и ночей кошмаров, описать которые нельзя.

В апреле 1945, когда уже была слышна советская артиллерия, оставшихся в живых каторжников построили в колонны по тысяче и погнали в порт Любек, чтобы там погрузить на баржи и вместе с баржами утопить в море. Марш смертников длился десять дней. Слыша близкую канонаду, узники сделали последнее отчаянное усилие, перебили охрану и пошли навстречу канонаде.

Закончил войну Владимир Власов в рядах Советской Армии. А потом демобилизация, возвращение на родину, учеба в техникуме.

И вот он здесь, на земле Кузнецкой, в тысячах верст и дней от Заксенхаузена, а проклятая память, растревоженная мрачным пейзажем, забивает его сон кошмарами, и он то и дело просыпается и стирает с лица испарину...

Упоминаю я это затем, чтобы читатель яснее себе представил происхождение многих помещенных здесь рассказов — «Комис-

сары», «Юп», «Обыкновенная история» и др. Безыскусность сюжетов, сдержанность и даже скупость прямых авторских эмоций и вместе с тем пронзительная достоверность деталей безошибочно свидетельствуют о том, что автор брал свой суровый материал не из вторых рук.

Однако писание и этих рассказов, и других, уже на тему мирной геологической жизни, было значительно позднее, много лет спустя, а тогда, в начале пятидесятых, молодому геологуполевику Владимиру Власову предстояли дела, бесконечно далекие от литературного творчества.

Здесь на Канyme, куда Власов вернулся после окончания техникума, сделал он свои первые самостоятельные шаги в геологии. Ходил летом в маршруты высшей категории сложности, зимой бил шурфы, прикрыв их от снега шалашами. Он задавал первую точку для первой буровой вышки на Канyme, носил в баллонах нефть для дизелей; сутками плутал, застигнутый беспросветными канымскими буранами (см. рассказы «Завтра связи не будет», «Тузик»).

Пять лет, а потом — прощай, хмурый Каным. Уже в качестве начальника партии летит Владимир Аскольдович Власов на Куль-Тайгу, одну из вершин Абаканского хребта, опоясавшего юго-восточную границу Кемеровской области.

Партия на Куль-Тайге была у грани развала, и вновь испеченному начальнику пришлось выслушать горькие откровения своего предшественника, который сказал:

— Я всю жизнь отдал геологии и не боюсь трудностей. Я годами могу корпеть над разгадкой какой-нибудь аномалии, ходить в сложнейшие маршруты; но когда тебя забрасывают самолетом к черту на кулички, дают полсотни человек, треть которых — бывшие уголовники, а у тебя в руках только печать да рация, да наган с шестью патронами, и говорят: ставь разведку по всем правилам науки и техники, то что ты на это скажешь? Ты не начальник партии — ты снабженец, коммерсант, милиционер, лекарь, судья, бог и царь — кто хочешь, но только не геолог, и вся геология летит к чертям, и ты думаешь только о том, как завтра обеспечить людей хлебом, потому что у пьяницы-завхоза последняя здоровая лошадь сломала ногу; или о том, что сделать, чтобы Сашка по прозвищу Клянусь Жизнью не привел свою угрозу в исполнение и не поджег кержацкую заимку...

В справедливости этих слов Власов убедился вскоре же, однако отступать было не в его характере. Дела в партии постепенно наладились, и каких сил и нервов это стоило — знал

только он сам. В результате было разведано крупное месторождение титано-магнетитовых руд.

Сдав его, Власов получил новое предложение: возглавить разведку только что открытых южнее Таштагола фосфоритных руд. И здесь работа от первого колышка и преодоление трудностей, так знакомых по Куль-Тайге.

После завершения работ на фосфоритах Власов возвращается на Каным, где после длительного перерыва решено ставить глубокую разведку железных руд. И снова — высадка вертолетным десантом на голец, раскорчевка тайги под будущий поселок, строительство дорог и буровых вышек — и все это в условиях таежного высокогорья и оторванности от баз снабжения.

Короче — недостатка в жизненных наблюдениях, за которыми иные авторы ездят в творческие командировки, у Владимира Власова не было. Острая наблюдательность, талант устного рассказчика, умение двумя-тремя штрихами подчеркнуть в человеке самое характерное — все это дало повод его друзьям настоятельно посоветовать ему взять в руки перо.

Урывками, в часы, отнятые у сна, часто при свече и керосиновой лампе, писались собранные здесь рассказы. Строгий критик найдет, возможно, шероховатости стиля и другие упущения литературной техники. Но он не найдет здесь одного: поверхностного знания жизни.

С удовольствием знакомлю читателя с Владимиром Власовым, творчество которого симпатично мне своей тематической направленностью, верой в добрые качества человека, оптимизмом, и той изюминкой юмора, которой так часто не хватает книгам наших профессиональных писателей.

ВЛАДИМИР МАЗАЕВ

Ответственный рейс



П
практика моя начиналась не очень удачно. Перед выездом в поле в тресте царило оживление необычайное. Почти все работники двигались рысью и разговаривали громче обычного.

Начальники многочисленных партий дружно осаждали отдел снабжения, добиваясь последних резолюций.

Пронырливые экспедиторы разбойничали около складов, пытаясь обмануть друг друга.

В узких коридорах треста бродили шумные группы студентов-практикантов, еще не получивших назначения и аванса. Их более счастливые товарищи заняли очередь у кассы с таким выражением на лицах, что было ясно: они будут стоять насмерть.

Окошечко кассы не открывалось с утра. Кассир в десятый раз пересчитывал деньги. Ему мешал ревизор — великий любитель вареных раков. Найдя в лице кассира не менее страстного гурмана, он развивал перед ним фантастические идеи разведения раков в сибирских реках.

— Самое главное — акклиматизация, — вещал ревизор утробным басом, ссылаясь на несуществующие труды великих ученых. — Представьте себе, что через пять-десять лет я добьюсь разведения раков в искусственных, а потом и в естественных условиях. Это же

переворот всей экономики. Имя мое войдет в историю, а благодарные соотечественники поставят мне памятник при жизни. Я представляю это так: на берегу реки на мощном постаменте из гранита стоит моя фигура.

Кассир вздрогнул, глянул на него поверх очков и не без ехидства вставил:

— В виде рака. — Ревизор нетерпеливо отмахнулся:

— А в ближайшем пивном павильоне сидим мы и смакуем вареных в укропе сибирских раков.

Потрясенный величием этой картины, кассир застоялся от умиления и начал пересчитывать деньги в одиннадцатый раз.

За тонкой стенкой голодные практиканты слотнули слюну. Они были готовы сожрать обоих ракоедов сырыми и даже без соли...

Беспрерывно открывались и хлопали двери. Сквозняки врывались в помещение, сметали со столов нужные и ненужные бумаги, которые летали, как белые голуби, увеличивая суматоху и беспорядок.

Из кабинета в кабинет поржала с образцами неизвестных пород молодая геологиня, напевая на мотив «нам не страшен серый волк».

— Пирротинчик, пирротин, пирротин, пирротин!

Широкий подоконник единственного окна оккупировал зам. начальника самой крупной экспедиции. Он сочинял впрок ответственный текст акта на списание пропавших в пути продуктов. Уставившись в окно бессмысленным взглядом, вспотев от напряжения, он мучительно долго подбирал несокрушимые формулировки, оснащенные геологическими терминами:

«В узком ущелье реки Уса карбас наскочил на морской подводный риф и, получив две пробоины в носовой и кормовой части, мгновенно затонул со всем грузом». Вторым зрением «зам» видел эту страшную картину несколько в ином плане. Он твердо знал, что в карбасе, кроме железа, которые нельзя было продать по пути к ущелью, уже давно ничего не было. Он мысленно представлял, как лихие карбасники рубят дыры в носовой и кормовой части, заранее отведя карбас на самое глубокое место. Он видел это, но рука его, не дрогнув, продолжала выводить: «Героическая борьба экипажа со стихией была безрезультатна. Спасти удалось только фактуры, которые к акту прилагаем».

В приемной начальника и главного инженера строгие секретари строчили на пишущих машинках, как пулеметчики, отбиваясь от посетителей длинными очередями.

Время от времени, яко тать в ночи, появлялся начальник отдела, пытаясь поймать очередного ротозея, забывшего на столе карту.

Из приоткрытой двери отдела металлов глухо доносились настырные молодые баритоны заседавших на главу отдела авторов неосуществимых проектов и безграмотных отчетов. Запарившийся глава в горячке спора выскакивал в коридор без пиджака, в подтяжках. Минуту, две он ошалело разглядывал разношерстную публику и, резко повернувшись, нырял в отдел, как ерш в омут, добивать своих идейных противников. Его тенор гневно звенел в отделе и был отчетливо слышен по всему этажу.

— Это что за определение «магнетитовый песок»? Песок! Само слово говорит за себя! Вы что, на пляже, черт побирай?! А где ваши пробы? О пробах забыли. Не оправдывайтесь, помолчите! Прочувствуйте всю глубину своего падения.

И тоном ниже:

— Идите. Переделывайте полностью да поминайте главу отдела и всю кротость его.

Самой главной осью этого сложного механизма был Любарский — командующий сухопутным, водным и воздушным транспортом треста. Его массивная, высокая фигура в болотных резиновых сапогах, окруженная роем завхозов, как потная лошадь комарами, медленно и торжественно проплывала по коридорам.

Все вопросы Любарский решал на ходу. От его орлиного глаза не могла укрыться никакая мелочь. Обещая одному самолет, а другому лошадей, он неожиданно обрывал речь на полуслове и, выйдя на балкон, в пятнадцати метрах от которого грузились в протоке карбасы, ревел, как иерихонская труба.

— Эй там, на карбасе номер четыре! Справа по борту у вас тащат масло!

Убедившись, что ящик масла возвращен, Любарский невозмутимо продолжал делить транспорт. Любарского часто вызывали к главному инженеру, который в шутку называл его то адмиралом, когда вопрос касался

карбасной флотилии, то генералом от кавалерии, то даже маршалом авиации.

Общую неразбериху в тот день увеличила делегация от цыганского табора, явившаяся с жалобой на оборотистого начальника экспедиции, выменявшего у них красавца-жеребца за больную кобылу с жеребенком. Начальник после размена ускакал на жеребце в тайгу, а кобыла через час подохла прямо в оглоблях.

Нам предстояло спускаться на барже 70 километров вниз по реке Томи, а потом подниматься по горной речке на карбасах.

Железная баржа, груженная мешками муки и сахара, ящиками с изюмом и спиртом, глубоко сидела в воде и текла по всем швам. Через дыры в корпусе вода проникла в трюм и плескалась внутри судна всего на расстоянии метра от палубы.

Рядом стоял небольшой катер. Матросы во главе с капитаном сидели на борту, опустив в воду босые ноги, и лениво переговаривались:

— Прораба по строительству Потехина приказано считать старшим в рейсе, потому что рейс шибко ответственный.

На берегу вблизи баржи, по-хозяйски разложив на платочках еду, закусывали будущие пассажиры—жители поселков и деревень, приезжавшие в город на базар. В основном, женщины. Их было человек тридцать.

А начальство не торопилось. Только во второй половине дня на причале, сколоченном из нескольких досок, появился долгожданный Потехин, одетый по-походному: брезентовая негнущаяся спецовка и высокие сапоги. Столь обычный наряд несколько разнообразила широкая соломенная шляпа а ля мексиканское сомбре-ро и великолепный авиационный планшет с целлулоидной крышкой, висевший через плечо на тонком ремне.

Потехина сопровождал кладовщик Елифан Елифанович, которого для краткости все звали Фан Фанычем. Очень энергичный и подвижной кладовщик с Потехиным держался как подчиненный и почему-то к месту и не к месту часто козырял. Правая рука его была искалечена — большой палец намертво врос между остатками двух соседних. Поэтому, козыряя, он как бы показывал своему собеседнику фигу.

Оба были навеселе и настроены крайне благодушно. Широким жестом Потехин разрешил пассажирам начать посадку. Баржа осела еще глубже. Капитан катера, истомленный долгим ожиданием, попытался протестовать против перегрузки, но Потехин его успокоил.

— Все люди, все человеки! — глубокомысленно произнес он, ступая на палубу, и, чтобы в корне пресечь возможный мятеж экипажа, распорядился:

— Фан Фаныч, команде — бутылку спирта в счет аванса.

Фан Фаныч стукнул каблуками и козырнул, показав ему фигу.

Отдуваясь и вытирая обильный пот, Потехин обследовал баржу:

— Фан Фаныч, ко мне! Организуйте-ка, братец, мне какую-нибудь лежанку в трюме.

Кладовщик откозырял фитой и помчался на катер. С помощью команды доски причала перекочевали в трюм. К ним прибили толстую деревянную дверь, снятую с катера. Теперь в трюме плавал маленький плот, на котором сидел Потехин и наслаждался прохладой. Раздевшись до белья, он скоро уснул. Без него прогремело традиционное: «Отдать концы! Малый вперед!» Катер потянул трос. Команда грянула: «Из-за острова на стрежень».

На барже подхватили: «На простор речной волны». И мы поплыли навстречу своей судьбе. Судьба же готовила нам западню. Никто не знал, что в горах прошли сильнейшие дожди. Команда, занятая пением морских песен, ни на что не обращала внимания, и быстро прибывавшая вода уже закрывала все опасные мели и перекаты. Когда на катере спевшиеся матросы вытязгивали «И волны бушуют вдали», капитан просмотрел мель. Катер легкой осадки проскочил над ней, не оцарапав днища, а перегруженная баржа, с ходу врезавшись в песчаную косу, засела намертво.

Толчок был так силен, что некоторые пассажиры упали на палубу. Тонкий трос лопнул, как гнилая нитка. На катере никто и не оглянулся. Он быстро уходил вниз по течению, и мы слышали уже издалека:

«Товарищ, мы едем дале-о-о-ко, подальше от грешной земли».

Некоторое время на судне царила тишина, которую

нарушал только храп Потехина. Баржа стояла неподвижно среди реки. Мелкие волны играли в догоняшки и весело плескались вокруг. Ошарашенные пассажиры молча переглядывались, не осознав еще сложности положения. Но какая-то дотошная тетка вдруг узрела, что вода прибывает прямо на глазах.

Началась паника. Пассажиры заматались по палубе с причитаниями и воплями, способными разбудить любого покойника, но старший рейса продолжал спать. Тогда Фан Фаныч лег около люка на живот и, подтянув поближе плот, начал будить Потехина, поплескивая на лицо трюмной водой.

— Тонем! — отрапортовал он, видя, что Потехин открыл глаза.

— Кто тонет? — недоумевал Потехин. — Я же плаваю...

— Все тонем! — повысил голос Фан Фаныч, стараясь перекричать паникеров.

Схватив шляпу и планшет, Потехин пулей вылетел из трюма на палубу и рывкнул истинно командирским голосом:

— Бабы, тихо!

Его несуразная фигура в белых подштанниках и соломенной шляпе возвышалась на мешках с мукой, ярко освещенная солнцем. Из своего шикарного планшета он извлек карту Советского Союза, вырванную из учебника географии для четвертого класса начальной школы, и, окинув берега быстрым взглядом, ткнул пальцем в нее где-то между Уралом и Дальним Востоком.

— Мы находимся здесь! — авторитетно заявил он притихшим бабам.

Как ни странно, но это заявление успокоило взволнованных пассажиров, будто им стало легче оттого, что теперь они твердо знают место своей гибели.

— Фан Фаныч, замерить глубину с левого борта! — не давал опомниться Потехин.

— Мет пятьдесят! — доложил Фан Фаныч.

— Замерить с правого борта!

— Мет тридцать!

— Слушать мою команду! Для облетчения судна всем прыгать в воду с правого борта!

Переминаясь и потихоньку поругиваясь, все нехотя

полезли в холодную воду. Река расцветилась яркими женскими платьями и косынками.

Баржа не дрогнула.

— Фан Фаныч, каждому на плечи по мешку муки! — распорядился Потехин. Стоящие в воде безропотно подчинились. Когда сгружали двадцатый мешок, облегченная баржа без предупреждения всплыла и, мгновенно перемахнув мель, понеслась по течению. Рев оставшихся на мели пассажиров перекрыл голос Потехина:

— Муку не бросать! Я за вами вернусь. Кто потеряет мешок, пусть тонет заранее!

На наше счастье капитан все-таки заметил пропажу баржи и вел катер ей навстречу.

Зацепить трос и подойти к мели снизу было недолго. Но озябшие, посиневшие пассажиры так дружно полезли на свой корабль, что чуть его не перевернули. Выслушивая проклятия разгневанных женщин, Фан Фаныч принимал муку и доверительно шептал Потехину:

— Могут морду набить.

— Граждане! — обратился Потехин к населению судна. — С целью профилактики от простуды предлагаю шарахнуть спиртику за наличный расчет. Фан Фаныч, действуй!

Обиды и страхи были забыты моментально. Через час настроение всего личного состава можно было выразить известным изречением: «После нас — хоть потоп!»

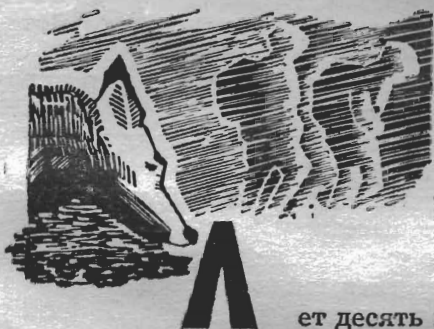
Встретивший нашу баржу древний дед, сторож перевалочной базы, долго и завистливо вздыхал и принюхивался: от судна разило спиртом. Все пассажиры спали вповалку на палубе.

— То-то я вижу: бутылки пустые плывут, — бормотал он, утверждаясь в своих догадках.

К моему рассказу старик отнесся спокойно:

— Гилогия... То ли еще увидишь, мил человек, у тебя все впереди.

Тузик



ет десять назад мы вели поисковые работы в отрогах горы с громким названием Царь-камень.

На месте находок обломков железной руды зимой разведку вели шурфами. Участок трудный, от базы пятнадцать километров через горку, которая называлась Потогонной. И название свое она оправдывала. Зимой сообщение с базой — только на лыжах, рации нет. Одним словом — дыра. Брали только добровольцев. Укомплектовались не сразу. Нас было двадцать восемь человек: проходчики, горные рабочие, взрывники. Народ разный, выдавший всякие виды: шли в партию кто в надежде на хорошие заработки, кто из-за богатой охоты и рыбалки, а кое-кто просто потому, что некуда было пристроиться. К зиме срубили два дома. На чердаках — склады. Построили баню, и в ней по проекту дяди Вани Жилыцова, старого солдата морской пехоты, сделали из камней и железа универсальную печь. Она грела воду, отапливала баню и выпекала хлеб.

Меня сначала мучили сомнения, я спрашивал:

— Допустимо ли такое сочетание с точки зрения санитарии?

Дядя Ваня, поглаживая свою черную блестящую, как лакированную, бороду, авторитетно разъяснял:

— Наука не знает случая, чтоб микроб жил в огне.

Поскольку огня в печи хватает — он должен в ей передохнуть.

Пришлось согласиться, тем более, что хлеб выпекался отличный и баня была каждый день. На горных работах — это первое дело. Люди всю смену в мокрых забоях, ледяная вода льет со стен ручьями; а потом по морозу надо еще бежать домой. Зимовка началась не плохо. Но скоро пришла беда: завелись на чердаках крысы. Вскоре они проникли в дома, в баню, уничтожая все съестное кроме консервов: железные банки им были не по зубам.

Достали отраву — безрезультатно. Поставили капкан — ловятся, но мало. Украла с базы кота. Несли в рюкзаке. Выл он, подлец, таким дурным воем, какого сроду тайга не слыхала. Но оказался трусом и сам прятался от крыс.

Тогда Борис Васильевич Федотов, ранее объехавший полмира, побывавший в Китае и даже на Гавайских островах, заявил:

— Нам нужна с-собака-крысолов. В-видел в Японии. Они — кривоногие.

Борис Васильевич говорил редко: заикался и стеснялся этого. Ребята звали его сокращенно Боря-Вася.

— Долго ты думал, Боря-Вася, — смеялись горняки.

— Ведь придумал, бродяга!

— Что же, нам теперь в Японию нарочного посылать?

Посыпались советы, предложения, шутки. Боря-Вася молчал. Его круглое, как блин, бабье лицо с редкими рябинами было на редкость добродушно — он улыбался. Но утром попросился слетать в город, будто бы к зубному врачу. Вернулся он дня через два.

Я был дома — заполнял наряды. Боря-Вася разделся, присел к моему столу и, зачем-то оглянувшись, таинственно прошептал:

— Привез.

— Кого?

— К-крысолова. С-сидит за дверью на веревке.

— Из Японии, что ли, его прислали? — не к месту пошутил я.

— К-купил в г-городе у старого друга за две бутылки спирта. Т-третью распили с горя на двоих. До сих пор качаюсь. П-пострадал за народ.

Только теперь я понял, почему молчун разговаривался.

— Давай ее сюда, Борис Васильевич.

Боря-Вася открыл дверь — пустил собаку в дом.

Боже ты мой! Это была не собака, а какая-то злая карикатура: длинное туловище на коротких толстых кривых ногах, пушистый хвост и хитрая лисья морда. Окраска фантастическая: спина и хвост — черные, на боках подпалины; живот, лапы и морда — белые; вокруг глаз черные очки.

— Как зовут?

— Л-люстра.

Меня прошиб такой смех, что я в изнеможении упал на стол.

Но Боря-Вася не ошибся.

Когда он, на правах пострадавшего за народ, улегся на топчан и заснул, а я затих, за столом в углу, где стояла посуда, что-то грохнуло, посыпались миски и раздался отвратительный писк. Это Люстра поймала первую крысу.

До вечера она задавила несколько штук. Самые злые насмешники вынуждены были покаяться и признать превосходство Бори-Васи в собачьих делах.

За две недели от крысиного нашествия осталось только воспоминание да бесчисленное количество дыр в завалинках, через которые улетучивалось из домов все тепло. К этому времени Боря-Вася определил, что у Люстры будут щенята.

Скоро она принесла четверых. Стояли сильные морозы, на полу было холодно, и гнездо для них сделали поближе к печке, под моим топчаном. Случайно кто-то из горняков, не найдя посуды, из которой кормили собаку, взял в кладовке первую попавшуюся и налил Люстре супу. Оказалось, что в этой банке ранее разводили отраву для крыс. Когда мы вернулись с выработок, Люстра уже подохла. Три щенка замерзли. Жив был один.

Боря-Вася положил его в старую заячью шапку, передал мне. Слепой щенок слабо попискивал в шапке, а взрослые бывалые мужики топтались вокруг и растерянно переглядывались — кормить его было нечем. Выход нашел взрывник. Он предложил поить малыша сладким чаем из тряпичной соски. К утру пообещал

принести с базы мороженое молоко. Вечером коллективно решали, как назвать пса. Отдавая дань заслугам его матери и питая огромные надежды на единственного продолжателя необычайного рода псов-крысоловов, все сходились на одном: имя должно быть содержательное, громкое и, конечно, благородное.

Назывались все классические имена от Трезора и Угадая, кончая Бобиком и Догоняем. Одно имя за другим отвергалось.

— Не пойдет! Старо,— кричал Сашка,— клянусь жизнью! — Размахивая в азарте длинными рукавами натальной рубахи, отчего его фигура напоминала огородное пугало, Сашка влез на топчан:

— Какая карта в колоде самая главная? Клянусь жизнью — туз! Назвать его, шельмеца, Тузом!

В картах у нас разбирались здорово — возражений не было.

Так и называли: Туз, Тузик.

Хлопот с ним было по горло. Готовить только, поить из соски — это еще полбеды. Печка по ночам остывала, и мне приходилось брать его в спальный мешок.

Вот так и вырастили. Был он общим любимцем и баловнем, пока не пришел на участок Федор Струнин — демобилизованный с границы инструктор-собаковод. Я попросил поучить собаку. Согласился с условием: Тузика никто не должен кормить и ласкать, кроме хозяина.

Струнин учил меня, я учил собаку. Тузику было уже месяцев пять, и он начал выполнять отдельные команды. Как-то к весне идем утром на выработку. Лыжню почти замело. Снег рыхлый. Лыжи проваливаются глубоко. Лыжня в косогоре, в полгоры, на подъеме. Тузик за мной сопит — несет в зубах палочку. Трудно ему в снегу, но не бросает. Потом вдруг слышу: залаял. Бросил, шкодник, палку, стал лапами на край лыжи и лает в долину. Внизу — ни птицы, ни зверя. Потом прыгнул в снег и поплыл — только голову видно.

Товарищ говорит:

— Что-то неладно.

Двое свернули за Тузиком.

— Если что серьезное, дайте выстрел. — И мы пошли дальше.

Немного погода — выстрел, второй. Беру с собой

Сашку — и в долину. Подъезжаем. Возле старого шалаша у реки — четверо. Ребята наши ветки на костер таскают. Двое сидят, поглядывают. Кто такие? Откуда? Долиной никто никогда не ходил — часто бывали снежные обвалы. Заблудились в пурге, шли всю ночь, выбились из сил и тут увидели шалаш. Стали кричать, звать на помощь. Так и замерзли бы. Спасибо Тузик услышал.

Струнин говорил мне вечером:

— Чутье-то у собаки классное — цены ей нет. Надо учить серьезно.

Подрос Тузик, выравнялся. Телом удался не в мать, а, наверное, в отца: высокий рост, хорошо развитая, умеренно широкая грудь, сильные, чуть кривые пружинистые ноги, пальцы в комке, стоячие уши, широкий лоб, морда острая.

Следующая зима была тяжелая: снегу насыпало за месяц до двух метров, на базу не доберешься. Самолеты из-за непогоды летать не могут. Запасы кончаются. Меню скучное: суп, каша; каша, суп. Товарищи ворчать начали. Да ведь это и понятно: целый день в глубоком темном шурфе подолби-ка кайлой да помахай кувалдой или поподнимай бадьей породу на двадцать-тридцать метров. А нормы такие, будто их специально для Ильи Муромца составляли.

Кое-кто погорячее — и шум поднимает.

Выручил Тузик. Попросился ночью на улицу. Утром туда-сюда — нет собаки. Подождал часок — нету. Иду на шурф, и чудится, будто где-то собака лает. Послушаю — нет, не слышно. Только ветер в кедраче гудит. Остановился у разведочной линии — лает, но с перерывами, будто с передышкой. Проходчики шурфов вылезли — слушают. Мелькнуло что-то между деревьями: бегут два Тузика.

А товарищи разглядели:

— Козел! Козел!

Тузик его прямо к шурфам гонит. Услыхал крик, схватил козла зубами за ногу и держит. Ребята в горячке, лыжи не надевая, к нему. Тонут в снегу, выныривают, падают. И смех и грех. Вот уже дядя Ваня поймал козла за рога, и Боря-Вася (ему снегом глаза запошило) схватил дядю Ваню за бороду и в азарте:

— Я п-первый, а т-ты второй!

Вытащили козла к шурфам. Здоровенный. Мясо будет.

Тузик до того измотался — встать не может. Лежит и снег хватает. Ободрали козла в момент. Немного успокоились. Собаку нахваляют:

— Тузик, Тузуня, сукин ты сын! Выручил! Да мы тебе золотой ошейник достанем. Лучшую собачью невесту найдем.

Потом уже разобрались по следам: гонял Тузик козла всю ночь по кругу. Мог бы задавить, но не тронул. Пригнал живого прямо в руки.

Разведка на участке закончилась. Новое задание: перейти главный водораздел, начать поиски в северных отрогах Царь-камня.

Сезон был удачный, но трудный.

Единственная короткая тропа прямо через Царь-камень путалась между скал, пробегала по краю отвесных обрывов и часто терялась в каменных осыпях. Чтобы отметить ее, товарищи через каждые 20—50 метров выкладывали из камней пирамидки, ставили колья. Но все это мало помогало. В туман и дождь возчики теряли тропу, калечили лошадей и возвращались на базу. Отряд оставался без хлеба, без продуктов. Как на беду старые работники ушли в отпуск, а среди новых попалось несколько нытиков. Возглавлял их, как оказалось впоследствии, Жабин, в прошлом не то кассир, не то бухгалтер, совершивший растрату. Сам он никогда открыто не жаловался, друзей же своих науськивал ежедневно. Претензиям и жалобам, устным и письменным, не было конца: то кто-то кого-то обругал и обидел, то малы заработки, то не привезли хлеба, а сухари они есть не могут; дождь мешает работать, в хорошую погоду комары съедают заживо!

Только и дела, что судим да пересуживаем. Хоть садись и плачь вместе с ними, но приходится мириться: лето короткое, работы много, людей нет и заменить их некем. Сидим как-то у костра, разбираем вторично одну кляузу: «...нам неправильно замерили объем канав, просим вызвать авторитетную комиссию...»

Доказываю:

— Рулетка стальная — тяни хоть изо всей силы — длиннее не станет.

Вдруг слышим задушевно-бодрый напев:

— Жизнь моя полным-полна скитаний. Приключений и переживаний...

И в свете костра появляются дядя Ваня, Сашка, Боря-Вася, а с ними человек пять незнакомых. Я охрип от радости. Здравуюсь шепотом.

Листки с жалобами вернул нытикам и говорю:

— Хватит, голубчики, воду мутить. Отпускаю вас всех на базу. Там штаты большие, есть кому переливать из пустого в порожнее.

Они в крик:

— Мы до прокурора дойдем!

— Хоть до самого господ бога — от этого ваши канавы глубже не станут.

Сашка подсел к костру и дьявольски вежливо:

— Мальчики, зачем шум? Пора вам знать, что рубли на березах растут только в сказках, да и то в стране дураков.

Жалобщики исчезли в своей палатке.

За столом командовали отпускники: громко рассказывали свежие новости, делились впечатлениями, наливали всем спирт, а для Тузика вместо обещанного ошейника передали мне целое кольцо свежей вареной колбасы — истинную редкость в наших местах.

До конца сезона нам удалось найти еще несколько новых рудных точек, отобрать образцы и пробы. Работы постепенно сворачивались. Отправили на базу почти всех людей, имущество, камни.

Осталось семь человек, Тузик и конь Гривастый. Рудных проб и образцов, взятых в последние дни, было килограммов полтора. Пятого сентября за нами должны были прийти лошади. Пятого мы проснулись на рассвете оттого, что палатку раздавило снегом. Снегопад начался ночью. К утру снег лежал по колено.

Это внизу, в долине. А что ждет нас на перевале? Туда даже смотреть не хотелось. Царь-камень плотно закрыли черные тучи. Они сползали с вершины тяжелым покрывалом, концы которого почти достигали подножия. Ветер беспрерывно трепал их, завивал в спирали, рвал в клочья. Все двенадцать километров надо было идти против ветра. Из них больше половины — по гольцу. С базы в буран никого не пошлют. Продуктов только на раз поесть. Одежда летняя.

Решение могло быть одно: выходить немедленно, по-

ка снег не закрыл перевал совсем, пока по пирамидкам и кольям можно нащупать тропу. Возвращаться в этом году не придется. Поэтому все образцы и пробы надо нести на себе.

Быстро поели. По куску хлеба — в карман. На Гривастого навьючили все громоздкое барахло. Разделили между собой пробы. Тяжело, но идти можно.

Вдруг Жабин заявляет:

— Нести ничего не буду: мне жизнь дороже камней, пропади они пропадом! — И развязывает свой мешок.

От такого нахальства я присел на пенек. Попытался уговорить. Ничего слушать не хочет.

Боря-Вася начал стыдить:

— Ч-чудак ты, Жабин. Может, в твоем мешке новый р-рудник лежит, а т-ты его в снег з-затоптать х-хочешь?

Махмуд Назмитдинович, кудрявый, похожий на молодого Пушкина, татарин, неожиданно заявил:

— Ты вредитель! Троцкий!

Никто не засмеялся.

Остервенился Жабин, на губах пена, говорить не может — визжит:

— Ладно! Пойду, понесу камни! Угроблюсь! Вы за меня в ответе!

— Ответим, мы за все ответим, — заверил его дядя Ваня.

На подходе к гольцу остановились. Снег выше колен. Переобувшись, спустили брюки поверх сапог. Обмотали полотенцами головы. Поползли на перевал, часто останавливаясь, меняя идущих впереди. Шли от пирамиды до пирамиды тесной кучкой, задыхались от ветра, ежеминутно сдирая с бровей и ресниц леденеющий снег. Сзади оставалась глубокая неровная борозда.

Неожиданно залаял Тузик. Ветром донесло пронзительно тонкое: «...а а а а».

Мы стали. Закричали хором. В ответ ударил выстрел и будто разорвал облака. Слепяще сверкнуло солнце. В сотне метров вниз от тропы два человека барахтались в снегу. Они шли на лай, на наш крик.

Через минуту облачный занавес закрылся, и буран загудел еще сильнее.

На тропе остался Жабин и я с конем. Ребята с Тузиком кинулись на помощь. Привели незнакомых пар-

ней. Одеты хуже нас, в ботинки. Руки и щеки уже обморожены. Голодные. Отдали им свои кусочки. Глотают, давятся, рассказывают коротко: топографы в соседней долине, шесть дней ждали самолет с продуктами. Делили сухари, собирали ягоды. Три дня назад отправили на нашу базу двух человек с конем. Не вернулись. Вчера послали этих пареньков. За день не дошли, а сегодня заблудились в пурге.

Впереди нас ожидала ровная, почти круглая поляна без пирамидок и кольев. В конце ее, при входе на тропу, росли карликовые березки — единственный верный ориентир, так как по всему перевалу их больше нигде не было.

Предупреждали всех:

— Смотреть влево по ходу. Как увидим — сворачивать.

Увидели. Подошли ближе. Возле березок — серый конь. Подседлан кавалерийским седлом. Длинный повод на снегу. Конец оторван. Ноги в крови — ободраны о камни.

Почуял. Заржал, тянется мордой.

Топографы — к нему:

— Наша лошадь! Отправляли три дня назад. Где же люди?

Кричали, стреляли. Пробовали искать. Чуть не потеряли друг друга. И про тропу забыли. А когда вспомнили — нет тропы, сбились. Ни кольев, ни пирамидок — ничего. Под снегом острые камни, трещины. Кони проваливаются. Вперед хода нет. Стоять долго нельзя — мерзнем. Надо уходить назад, в долину. Уходить быстро, пока еще хоть немного виден след.

Заартачился Жабин:

— Бросим коней, груз. Налегке уйдем без тропы. До базы близко.

Уговаривать некогда. Сашка ему — кулак к носу:

— Коней бросить, груз? Может, и этих двух хлопцев бросить? Они уже зачоченели, идти не могут. Иди, гад, впереди меня и не оглядывайся, а то я выбью твою чернильную душу.

У подножия Царь-камня, в затишке, долго не могли свернуть сигарки — отогревали руки.

Сашка пошутил горько:

— Мальчики, вы напоминаете французов, которые бежали из Москвы.

Дядя Ваня, сдирая с бороды лед, вздохнул:

— Французам было легче, они бежали по дороге. А у нас и тропы нет.

— Есть вторая тропа, — говорю. — Начинается отсюда в десяти километрах, в Соболином ключе. Идет на пятьдесят километров вокруг Царь-камня. Только черт бы там ходил: два глубоких брода, тяжеленный подъем и чистый, как лысина, перевал, закрытый осыпями. Тропа на перевале ничем не отмечена. Дальше в тайге затесы.

Переглянулись молча.

— Веди.

Ночевали в зимовье. Ели найденные сухари. Лошади — сено, которым кто-то заботливо застелил нары.

Поднялись в темноте. Буран гремел над гольцами, но в долине, в лесу, было терпимо.

Топопрафам дали коня. Они ехали в седле по очереди. Жабин помалкивал. С обеда стало подмораживать. Снегопад почти прекратился, а ветер стал еще сильнее. Брезентухи, подмоченные на бродах, гремели, как железные.

Позади почти сорок километров пути, два брода через взбесившиеся речки. Впереди перевал, закрытый метровым слоем снега. Поверх снега редкие стебли высохших трав. Внизу — тропа. И никаких примет. Снег застыл, покрылся сверху ледяной корочкой. Ветер шлестит стеблями трав, нагоняет тоску.

Тропу потеряли сразу. Щупали палками, ногами. Находили и снова теряли. При таком темпе в тайгу до ночи не спуститься. Закурили. Боря-Вася меня за плечо тронул и глазами на Тузика показывает.

Тузик стоял в конце пробитого следа и, высоко задрав морду, к чему-то принюхивался.

— Вперед, Тузик! — Тихонько ему командую. — Вперед!

Прыгнул, пробил грудью ледяную корку, провалился с головой, поводит носом, опять прыгнул. Шагов через двадцать устал — лег. Ребята по следу. Идет точно по тропе, не сбивается.

Дядя Ваня говорит:

— Летом тут ходили выученные кони. Травы высо-

кие. Наверное, на них запах какой-то остался, поэтому собака и морду задирает.

Приободрились: медленно, но движемся.

Сашка на ходу воспитывает Жабина.

— Ты уже немного напоминаешь человека. Выйдем на перевал и подведем баланс твоей сегодняшней деятельности. Вполне вероятно, что сальдо будет в твою пользу.

Начался спуск. Идти легче, да Тузик устал. Останавливается часто и кровь за ним по следу пятаками — сорвал когти о ледяную корку.

Боря-Вася снял с головы полотенце. Я перевязал собаке лапы:

— Вперед, Тузик! Вперед!

И вот он, лес и первая пихта с потемневшим затесом. Вышли точно по тропе, с лошадьми и грузом! Только Тузик совсем плох — измотался. Идет сзади, хромает, часто ложится.

Мы почти подошли к реке, когда порыв ветра сломал вершину полусухой пихты и с силой бросил ее на тропу. Собака не успела увернуться. Никто этого не видел. Тузика хватились только на берегу, когда разожгли костер.

Быстро темнело. Мы с Сашкой вернулись по следу. Собаку нашли у подножия горы. Принесли, положили на спальный мешок.

Тузик часто и хрипло дышал. Из пасти тянулась слюна, подкрашенная кровью.

— Пристрелить надо, чтоб не мучился, — пожалел кто-то.

Все молчали. Сашка опустился на камни, погладил собаку.

Боря-Вася ощупал Тузика.

— Наверное, сломаны ребра. Дайте полотенце.

Он наложил тугую повязку, перевернул Тузика на здоровый бок. Ложились, постелив прямо на снег пихтовые лапки, кое-как просушив одежду. Спали за смертью. Чуть в стороне позвякивали уздечками лошади, разгребали копытами снег, жевали сухую траву. Я дежурил первым: вставал, подкладывал в костер заготовленные с вечера сухие бревна, тушил искры на одежде товарищей. От искр на спине Тузика задыми-

лась шерсть. Он дернулся, открыл глаза, поднял голову.

— Лежать!

Тузик всегда выполнял команду. Лег — задышал ровнее.

Я разбудил Сашку и растянулся вместе с собакой — в тайге мы всегда спали вместе. Сквозь сон слышал стук топора, удивлялся: «Кому это надо рубить ночью».

Проснулся рано — все еще спали. Погладил Тузика — живой. Буран затихал. Последний дежурный — дядя Ваня — сидел спиной к костру и что-то делал у подножия огромного кедра. Я зашел потихоньку сбоку. На кедре белел свежий затес. На нем — выжженная шомполом надпись: «Здесь лежит Тузик — герой Царь-каменя».

Это Сашка придумал и разместил надпись, а дежурные всю ночь по очереди выжигали буквы. Я помог выжечь последнюю букву и поставил точку. Памятник был готов.

Подседлали коней. Тузик, видя наши сборы, попытался встать — не смог.

Дядя Ваня сказал:

— Оставь спальный мешок, прикажи стеречь. А то поползет за нами.

Сашка ловко соорудил над собакой навес из пихтовых лапок — от снега. Я похлопал рукой по мешку, приказал:

— Охраняй, Тузик, охраняй!

Уходили молча, не оглядываясь, не глядя друг на друга.

На первом привале Сашка мрачно сказал:

— Надо было унести. Может, выздоровел бы.

— Б-бесполезно, — сказал Боря-Вася. — Ребра проткнут легкое. Только лишние мучения.

Сашка промолчал: Боря-Вася был, как всегда, прав.

Червяков



обротные, крытые по-круглому дома прииска расположились по ровному склону левого берега реки.

Все постройки обнесены высокими крепкими заборами. В каждом дворе — собака.

— От кого они прячутся, окаянные кержаки? — возмущался главный инженер.

— Город от них за сто с лишним километров. Кто сюда пойдет? И зачем?

Вопросы остались без ответа. Почти полдня мы безрезультатно обходили дом за домом — просились переночевать.

Начальник прииска сказался больным, председатель сельсовета был в отъезде, остальные отвечали кратко:

— Нет места — большая семья.

Уставшие с дороги, голодные и злые, мы с радистом молчали. Инженер для облегчения души продолжал возмущаться и ругал местное начальство.

— Идите к деду Червякову, — пожалела нас какая-то ветхая старушонка и показала на правый берег реки.

Там, в стороне от поселка, на крутом косогоре прилепился дом-одиночка.

— Мертвое дело, — засомневался главный, — там, наверняка, обитает какой-нибудь отшельник-единоличник. Вышибет он нас из ограды и на порог не пустит.

Мы с радистом думали так же, подходя к большому слегка накренившемуся на одну сторону дому.казалось, что он кланяется всем прохожим.

— Богатыри его рубили, что ли? — удивились мы.

— Вы посмотрите. Всего шесть венцов! А бревна какие! Не меньше чем в полметра толщиной каждое.

Доступные всем ветрам в непогоду, омываемые дождями не один десяток лет, стены дома почернели. Он бы имел совсем мрачный вид, если бы не свежеекрашенные в голубой цвет наличники и переплеты небольших окон, которые весело подмигивали нам, освещенные заходящим солнцем. Аккуратно очищенная от снега тропка привела через настежь открытую калитку во двор.

Готовясь к отказу, мы не торопились знакомиться с хозяином и задержались на крыльце, излишне тщательно обметая снег с сапог.

Услыхав шум, в доме залаяла собака.

— Цыть, Байкал! — прогудел сонный бас. В сени вышел высокий старик. Лицом с крупными чертами он напоминал Льва Толстого. Роскошная белая борода закрывала грудь. Длинная байтовая рубаша не подпоясана. На ногах — валенки сказочного размера в бесчисленных заплатах, самого разнообразного цвета и формы.

— Заходите в избу, — пригласил он, ни о чем не спрашивая. И тут же представился: — Иван Матвеевич Червяков, пенсионер.

— А мы геологи, — доложил инженер, — будем здесь работать.

— Отдыхайте, добрые люди, я пойду истоплю вам баньку. С дороги это — разлюбезное дело.

Он взял косматую шапку и, выйдя на крыльцо, крикнул:

— Дочка, давай в баню воды, а я дровец расстарюсь. — Не отставая ни на шаг, следом за ним выскочил Байкал — старый кривоногий пес темно-серой масти. Он был подслеповат и ориентировался, в основном, на голос хозяина.

— Иван Матвеевич, куда же вы на мороз в одной рубаше и без рукавиц? — попытался остановить его радист.

— Привычка, — пробасил дед и, тяжело переступая пудовыми валенками, ушел в баню.

Мылись вместе. Распоряжался хозяин. Забравшись на верхний полок, он нещадно сек свое могучее белое тело веником, покрывал:

— Поддай, еще поддай,— и от удовольствия ухал, как леший. Инженер пытался подражать, но тут же свалился с полка и сунул голову в ведро с холодной водой.

Ужинали по-домашнему: вареная картошка, соленые огурцы — угощение хозяина; сало, консервы и спирт — наша доля. Забыв все трудности дороги и неудачи дня, мы сидели в огромной чистой комнате (в доме перегородок не было) и наслаждались теплом, чистым бельем и покоем.

После второй стопки Иван Матвеевич аппетитно крякнул и, прожевывая со вкусом огурчик, пожаловался:

— Слаб я стал, братцы,— больше одного стакана спирта за раз не принимаю.

Радист незаметно усмехнулся: «видел, мол, таких слабых».

Чтобы не расстраивать хозяина, спирт убрали.

— Что же искать будете! Золото? — обратился Иван Матвеевич к инженеру.

— Фосфориты.

— Это что? Металл какой?

— Дороже любого металла. Это камень плодородия. Если им удобрять землю, то урожай будет в полтора раза больше.

— Боже ты мой! Я полвека тут прожил и не знал. В котором месте искать-то его надо?

— Первые образцы нашли в отвалах пород, там где мыли золото. Оттуда и начнем.

— Выходит, мы всю жизнь топтались по этому камню и не догадывались, что он плодородный. Гибли люди за металл, а счастье свое ногами попирали. Велики дела твои, господи, и чудны! Прости нам наши прогрешения.— Иван Матвеевич встал и торжественно, будто принимая присягу, заявил:

— Трудно вам будет. Кержаки — народ тяжелый! Но я помогу. Для начала считайте — дом у вас есть.— И он широким приглашающим жестом указал на стены.

— Рацию завтра поставим в землянке. Там у меня зимой куры спасаются от мороза и бычок месячный

обитают. Потесним божью тварь и уголок радисту освободим.— Иван Матвеевич гулко рассмеялся и пошутил:

— Организуем Ноев ковчег с радиостанцией.

— Фундаментальный дед! — прошептал инженер, толкая меня локтем и не сводя со старика восхищенного взгляда.

А дед, будто опасаясь, что мы откажемся, горячо продолжал:

— Жить будете, как у Христа за пазухой. Картошки у меня хватит, корова Дымка — доится, куры скоро занесутся. Скучать не будем, потому как газету «Советскую Россию» я получаю регулярно раз в неделю: шесть штук сразу.

Скучать действительно не пришлось: с утра до ночи мы с инженером лазили по окрестностям прииска, намечая будущие разведочные выработки и выбирая место для строительства базы. Отношения с населением поселка оставались напряженными: надо было везти рабочих, а селить их было негде.

Червяков принимал все наши заботы близко к сердцу и гневно клял своих соседей:

— Врут они, что места нет, что вера запрещает чужих пускать. Загородились от людей богом, дьяволы! Не верят они ни в бога, ни в черта, ни в вороний грай. Верят в золото, а молятся о своем брюхе! Разве бог так учил жить?! Ты, — он ткнул в меня пальцем, — вези людей! А ты, бородач, — повернувшись к инженеру, продолжал он более спокойно, — берись за святое писание и учи прилежно. Я тебе подсказывать буду, где самый корень есть.

Через неделю я вернулся с людьми. Нас встретил сияющий дед. Он, отозвав меня в сторону, доверительно сообщил:

— Мы их сразили

— Кого, Иван Матвеевич? — не понял я сразу.

— Да богомольцев наших, — нетерпеливо отмахнулся он, — кержаков.

— Толковый у тебя инженер: за три дня превзошел всю эту премудрость. — Иван Матвеевич кивнул на стопку старинных толстых книг в переплетах из кожи.

— Послал я его к Родиону — главному проповеднику. Ну инженер и начал ему втыкать заветы по святому писанию: «Возлюби ближнего своего яко сам се-

бя», «предоставь путнику кров и хлеб» и так далее. Родион спорил два дня, а потом признал: «твой верх».

Вчера собрал всех на молитву и говорит: «Божье имя зря трепать нечего: чтобы душу спасти, надо на земле добрые дела делать, а на одной молитве в рай не въедете». Порешили пустить людей на квартиры. Сейчас мы их разведем.

Разведочные работы начали на следующий день. Мы с инженером целыми днями пропадали на выработках и с Червяковым виделись мало.

Первое мая праздновали у него. Иван Матвеевич за праздничным столом был очень весел и разговорчив: много шутил, смеялся и подпевал патефону. Радист поставил «Варяга». Услыхав «Наверх вы, товарищи, все по местам», дед вздрогнул, поспешно встал из-за стола и, оправив новую рубашу, замер. Разговоры смолкли — все удивленно повернулось к нему.

Иван Матвеевич стоял по стойке «смирно», высоко подняв свою серебряную голову. Глаза сверкали грозой, губы слегка шевелились, беззвучно выпевая слова боевой песни. Его словно подменили: он был суров и торжественно неприступен. Отзвучали последние слова. Иван Матвеевич вытер слезу и грузно сел на стул. Попросил меня виновато:

— Налей мне сверх нормы. Надо помянуть матросиков. — Он лихо опрокинул стопку и, словно оправдываясь, сказал:

— Мне грех не помянуть — в одном море тонули.

Инженер пересел поближе, спросил мягко:

— Вы участвовали в войне пятого года?

— При Цусиме был, братцы, на броненосце «Орел». — Дед глубоко задумался, опустив голову. Что вспоминал он в эту минуту? Холодные волны Японского моря, грохот боя, своих погибших товарищей?

Потом Иван Матвеевич частенько рассказывал нам о прошлом. Память у него была отличная, и слушать его было одно удовольствие. Сядет, бывало, на солнышке в своих неизменных валенках и говорит:

— Нас раньше на службе сортировали, как лошадей: от одиннадцати вершков и выше — в гвардейский экипаж, на весельные катера княгинь катать; пониже ростом — в Преображенский или в Семеновский полк, а прочих — мелкокалиберных — в другие части. Я вот

смолоду был рыжий, ну и рост соответственный. Так меня воткнули поближе к государю-императору. Царишка, правда, нам непутевый попался: пьянчужка. Я сколько раз его под хмельком видел. Через водку и я пострадал. Был малость хвативши и говорю матросам: «Нам не столь японцы страшны, — сколь наши командиры. Понаставили дураков и пьяниц — они и гробят нашего брата». Меня за штаны и в конверт. Чуть в каторгу не загремел. Сунули на «Орел». И на том спасибо. — Дед оглядывает нас смеющимися глазами и продолжает:

— Объехал я, считай, весь земной шар. Насмотрелся всего чего хочешь. И признал, что есть два самых лучших места на земле: Остров Мадагаскар и наш прииск. Пораженные таким странным выбором, мы растерянно молчим, а дед поясняет:

— На Мадагаскаре всегда тепло. Даже огня раздувать не надо. Фрукты растут любые и опять же овощи. Народ ходит в чем мать родила. Не жизнь, а малина. Любую бабенку можно выбрать без обмана — все на виду. — Дед лукаво подмигивает и, смеясь, продолжает:

— Век бы жил — не тужил.

— Ну а прииск? — напоминает радист.

— А что прииск, — уверенно говорит дед, — тоже распрекрасное место: сенокосы-то какие! И дрова рядом. — Он указывает на виднеющийся вдали лес.

Задумчиво покачивая головой, Иван Матвеевич заканчивает:

— Вообще-то братцы на земле везде хорошо и народы все хорошие — был бы ты сам для них неплох.

Утром Иван Матвеевич просыпался раньше всех, — к восходу солнца. Осторожно шлепая босыми ногами, стараясь не шуметь, выходил в сени. Потом, не одеваясь, в одних подштанниках — к иконам. Байкал хромал сзади, не отставая ни на шаг. Хозяин останавливался перед ликами святых и зажигал лампаду. Пес усаживался у его ног и начинал выкусывать блох.

Внимательно и строго Иван Матвеевич оглядывал иконы, словно проверял: не разбежались ли святые за прошедшую ночь. Потом легонько кланялся, будто приветствовал старых знакомых, и монотонной скороговоркой читал молитву, явно не придавая ей никакого зна-

чения. Покончив с торжественной частью дед обстоятельно крестился и приступал к мирной беседе с господом богом.

Тон беседы резко отличался от молитвы и единственной официальной фразой было: «Господи, прости наши прогрешения».

Потом Иван Матвеевич откашливался и начинал:

— Оно вроде бы все в порядке: скотина здорова, люди тоже не хворают. Только Оська Симаков — старатель — за малым от вина не сгорел. Но, слава тебе, господи, вовремя молочком отпоили — отвели от греха. А то предстал бы он перед тобой в самом непотребном виде. Ему-то никак нельзя: Оська-артиллерист, кавалер орденов. Конечно, не матрос, но ведь защитник отечества. Самого Гитлера проклятого разгромил в его берлоге. Господи, прости наши прогрешения. Жалко, за одним Черчиля не прихлопнули. Вот еще, враг рода человеческого на мою шею навязался! Даже газеты из-за него, поганца, читать не могу. Как увижу его фамилию, так и расстроюсь начисто. Ну да англичане, они испокон веков угнетатели и паразиты. Я на них насмотрелся. Только приходит им конец: индусы нападдали им под зад коленом, а остальные скоро восстанут. Это уж как пить дать. — Иван Матвеевич крестится правой рукой, левой чешет себя пониже спины и продолжает:

— А с погодой-то что творится? Травушку добрые люди подкосили, а дождь каждый день. Это натуральный сеногной! Сегодня-то будет ведро или нет?

Дед выглядывает в открытое окно и вдруг кричит дурным голосом:

— Шурка, ведьма, — теленок в огороде! Спите, черти, как дохлые! Бог за вас должен скотину караулить?! О господи, прости наши прогрешения.

Зная, что от крика все уже проснулись, он, в сердцах, торопливо заканчивает:

— А в селые опять соли нет. Это же форменный бордель! — Иван Матвеевич поворачивается к жителям своего ковчега и уже улыбается ласково и весело. Он стоит прямо под иконами. Золотится борода, подсвеченная первыми лучами солнца, золотятся седые кудри. На фоне темных, суровых святых и великих мучеников он сам кажется этаким славным жизнерадостным богом.

— С добрым утром, други мои! — рокошет его бас в полную силу. — День-то какой начинается! Будто в ро-се выкупался с утра пораньше.

В сопровождении Байкала Иван Матвеевич обходит хозяйство, разговаривает со скотиной и направляется к нам на очередную планерку. Он в курсе всех событий нашего коллектива, и частенько мы советуемся с ним по хозяйственным делам. Он лечит наших лошадей, проклиная возчиков за сбитые конские спины, за потертости в результате небрежной седловки. Поймав нерадивого ездока, читает ему целую лекцию о лошадях, о сбруе. На прощанье внушительно говорит:

— Человек на земле сильнее и умнее всех. Он поставлен все живое беречь.

Сам он бережет даже птичек, свивших гнездо под крышей. Рыжий кот — любимец деда — неоднократно пытался гнездо разорить, за что был бит. Затею свою он не оставил. Изменил только способ охоты. Развалившись между грядками, рыжий разбойник прикидывается спящим. Пытаясь отвести своего заклятого врага от гнезда, птички спускаются на землю и, подрагивая на ножках-соломинках, приближаются к нему. В их голосах отчаяние. Кот ждет. Они делают еще пару шажков. Рыжий комок распрямляется в прыжке, но лапы хватают только воздух. Птички весело чирикают на заборе. Кот грузно шлепается на глядку и от злости катается по земле. Дед внимательно наблюдает из окна, смеется и говорит:

— Ах ты, негодник! Ах ты, агрессор! Ну погоди... — и снимает с гвоздя ремень.

Иван Матвеевич не может спокойно пройти мимо забытых в спешке или потерянных вещей. Он, как муравей, собирает в траве рассыпанные при погрузке гвозди, болты, гайки и прочую мелочь. На чердаке дома у него индивидуальный склад. Там можно найти все, что угодно, начиная от горняцкого кайла и кончая выючным седлом. Когда у нас не хватает чего-нибудь из инструмента или снаряжения и завхоз в панике мечется, отыскивая потерянное, Иван Матвеевич помалкивает. Завхоза — любителя выпить — он терпеть не может.

— Что моташься, сухопутная крыса? — зло ворчит дед, презрительно поглядывая на нашего завхоза.

— Опять растерял казенное добро, бездельник?

Дед не спешит ему помочь. Он ждет планерки. И только после того, как завхоз получит очередную нахлобучку от начальства, а главный инженер подчеркнуто вежливо попросит Ивана Матвеевича выручить коллектив из беды, дед говорит:

— Разве с таким оборотом мы дойдем до коммунизма? Господи, прости наши прогрешения! — И не глядя на уничтоженного завхоза:

— Пойдем, мытарь, выручу тебя в последний раз.

Так день за днем проходит лето. Работы идут полным ходом, заканчивается строительство нашей базы. Но дом Ивана Матвеевича остается по-прежнему нашей штаб-квартирой.

Мы втайне от деда решаем сложнейшую задачу: где достать ему новые валенки. По имеющимся сведениям, ни одна фабрика в Советском Союзе не выпускает обуви подобных размеров. К этому делу добровольно подключились снабженцы экспедиции во главе с начальником. Наконец валенки сделали по особому заказу. Одновременно привезли восемь полушубков. Все они отличались друг от друга цветом и фасоном.

Иван Матвеевич со знанием дела осмотрел все, а потом смущенно попросил:

— Разреши примерить.

— Примеряй, старина, что с ними делается.

Дед надел черный дубленый и направился в магазин. Через полчаса в белом явился в сельсовет. На почте он был в коричневом. За три часа сменил все восемь. Прииск дрогнул. Деда окружила толпа женщин и не менее любопытных мужчин:

— Иван Матвеевич, откуда столько добра?

Степенно оглаживая бороду, дед бросил на ходу:

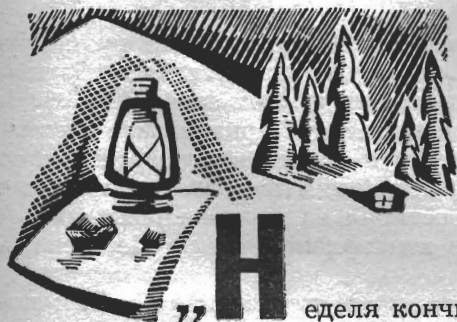
— Заработал. Полушубки не манна — с неба не падают. — Потрясенные соседи неделю обсуждали это событие, и дед потихоньку посмеивался:

— Добил я богомоллов. Задал им загадку.

Поисковые работы через год увели нас за полсотни километров в сторону от прииска. Иван Матвеевич прощался как с родными: снял шапку, крепко расцеловал каждого. Бодрясь, скомандовал:

— По коням! — И с затаенной болью: — Счастливый вам путь, братцы!

Выходной день Тягунова



Неделя кончилась. побыстрее бы уснуть, а завтра с утра можно и на охоту сбегать», — подумал начальник партии, залезая в спальный мешок и устраиваясь поудобнее. Но сон не приходил, хотя обычно шумливые соседи за тесовой перегородкой сегодня улеглись рано.

Тягунов поворочался с боку на бок, закурил. Потом включил свет и решил почитать «Единые правила безопасности» — испытанное средство от бессонницы. Это нудное чтиво действовало безотказно. Дочитав до 119 параграфа, трактующего о том, что «каждая маршрутная группа в лесных районах должна быть снабжена топором», он уснул.

В шесть часов утра его разбудил телефонный звонок. Звонил сменный мастер девятой скважины:

— Товарищ Тягунов, докладываю, что на смене произошел обрыв снаряда на глубине триста двадцать метров. Аварию ликвидировать нечем. Сорвал резьбу на последнем мечике.

— Вас понял, — хриплым со сна голосом ответил Тягунов. — Сейчас пришлю старшего мастера с инструментом.

Тягунов созвонился со старшим мастером, подумал — не подремать ли еще, и тут вблизи дома хлестнул выстрел. Тягунов бросился к окну.

В предрассветных сумерках по узкой снежной дорожке босиком, в одной нижней рубашке, мчалась к его избе Катюха — жена Леньки Епиша, известного бузотера и скандалиста. Ударил второй выстрел. Катюха оступилась в глубокий снег, упала и оставшиеся до крыльца три метра преодолела по-пластунски. Она проскользнула в дверь, как мышь в нору, и сразу запричитала: «Ой, боже ж ты мой, Николай Алексеевич! Спасите! Убивают!»

Следом за ней вломился Ленька, потрясая ружьем и заикаясь от злости. Театрально ударяя себя свободной рукой в мощную грудь, он с надрывом заорал:

— Табаку-то уже неделю нет. Курим всякое дерьмо. Вчера искрошил свою старую трубку и заделал мощную цигарку. Ну, там же чистейший никотин — опьянел с трех затяжек. Бычок оставил на утро, на похмелье. А эта гадюка ночью его втихаря искурила. Не жена, а змея подколодная!

«Подколодная змея», часто переступая босыми ногами по холодному полу, будто совершая бег на месте, перешла на крик:

— Там и бычок-то был — на раз зашмыгнуться! А равноправие где?

Тягунов примирил их, отдав две последние папиросы.

Не успела закрыться за ними дверь, как явилась делегация от горняков. Старейший проходчик Федор Васильевич Крючок, нервно теребя пышную седую бороду, несвязно начал рассказывать:

— Мы, значит, план выполняем, а тут... На завтрак хлеб режем, а в нем — чистый срам. — Он положил на стол буханку белого хлеба. Прямо из середины ее торчал большой пучок рыжих волос. Крючок задыхался от возмущения, и на выручку ему поспешил Андрей Петушков — великий любитель всяких происшествий:

— Дело ясное. Волосы рыжие, а рыжих у нас двое: дед Матвей да Нинка толстая. Дед уже месяц на участке Дальнем. Остается Нинка. Она, значит, не поделила своего любовника с пекарихой и решила подлость по работе сделать: подкинула в тесто клок своих волос. Но просчиталась, стерва, волосы не рассыпались. А по пучку и слепой скажет, что это Нинкины и ничьи больше. Для верности мы можем экспертизу про-

вести. Вы только, товарищ начальник, дайте сейчас же свою команду, чтобы все женщины сдали по пучку своих волос нам на анализ.

Мысленно прощаясь с охотой и отдыхом, Тягунов успокоил делегатов и посоветовал оформить дело в товарищеский суд на предмет привлечения Нинки толстой к ответственности за ее подлое дело.

Провожая делегатов, Николай Алексеевич одевался на ходу. Но дальше крыльца уйти не пришлось: на нижней ступеньке, загораживая проход, стояла Афродита Парамоновна, промывальщица проб. В руках она держала пару резиновых сапог сорок пятого размера. От морской богини ей досталось только имя. Фигурой она напоминала Геркулеса в юбке. Злые шутники говорили, что у нее только в загривке пуда три, а пониже все девять.

Увидев Тягунова с ружьем в руках, Афродита растерялась:

— Николай Алексеевич, неужто сразу арестуете?

— Можно и сразу, — пошутил Тягунов.

— Так я не согласна, — пророкотала Афродита, — может, он еще жив будет.

— Кто будет жив? — сразу посерьезнел Тягунов.

— А вы разве не знаете? — приободрилась Парамоновна. — Снится мне сегодня сон. Будто сижу я на лавке и ем кислую капусту.

— Ближе к делу, Парамоновна, я спешу.

— Нет уж, Николай Алексеевич, тут надо разобраться. Вот, значит, сижу я на лавке и ем кислую капусту...

— Хватит про капусту, что случилось? — рассердился Тягунов.

— Убила я его.

— Кого?

— Да плотника же Кириллыча, чтоб ему ни дна ни покрышки. Вчера отдала ему заклеить сапог. В воде ведь работаю. Он — лысый черт — послал меня за поллитрой и обещал горячую вулканизацию. Латку приклеил здоровенную, выпил водку и забыл сапог около печки. Резина-то и подгорела. Я утром пришла, сунула ногу в сапог, а нога через носок — наружу. Стала жаловаться, а он матерится и говорит: «Обуваться не умеешь». Разгорелось мое сердце, и трахнула я его

сапогом по лысине. Ну, он материться перестал и упал.

— Ну и как?

— Лежит.

— Давно лежит-то?

— Да нет, часу еще не прошло.

Проклиная Кириллыча, сапоги и Афродиту, Николай Алексеевич направился к домику плотника. Кириллыч встретил его, держась руками за голову.

— Николай Алексеевич, не пускай в дом ее, окаянную,— закричал он, увидя Афродиту, боком пролезающую в дверь.— Я ей новые сапоги куплю сегодня и поллитру в придачу.

— Пропала охота,— сказал Николай Алексеевич, поворачивая домой. Он не ошибся—через десять минут доложили, что в контору пришел лесник.

Лесника надо было встречать как самого дорогого родственника, потому что, несмотря на глубокий снег, он мог найти в лесосеке столько грехов, сколько ему захочется. А это грозило остановкой работы минимум на несколько дней.

Для неожиданного гостя были мобилизованы последние резервы. На столе появилось все, как в сказке о скатерти-самобранке.

Николай Алексеевич скорчил на своем помятом лице жалкую гримасу, должную изобразить радостную улыбку хлебосольного хозяина, и лично пошел приглашать к завтраку всемогущего повелителя лесов.

Одноглазый лесник с черной повязкой на лбу чем-то неуловимо напоминал знаменитого пирата Билли Бонса из кинофильма «Остров сокровищ». За столом он сидел уверенно и, сочувственно поддакивая жалобам начальника на плохое снабжение, ел и пил как спасенный от голодной смерти.

Николай Алексеевич незаметно глянул на часы—завтрак явно перешел в обед, а Билли Бонс и не думал выходить из-за стола.

«Черт с ним,—подумал Николай Алексеевич.— Пусть сидит. Может, и не пойдет в лесосеку».

В мирной беседе Тягунов старательно обходил скользкие темы, напоминающие не только о лесе, но даже о деревообрабатывающей промышленности. Лесник же неуклонно сводил все разговоры к лесу, приводя на память колоссальные суммы штрафов, наложен-

ных на предприятия при его прямом участии. И при этом так пронзительно глядел на Тягунова своим единственным глазом, что тот сразу замолкал, хватал со стола бутылку и поскорее наливал гостю очередной стакан. Чувствуя себя несколько опьяневшим, хотя пил мало, он лихорадочно думал: «О чем бы еще поговорить, не касаясь леса?» Отчаявшись найти на земле такую тему, Николай Алексеевич заговорил о космосе, но крепко захмелевший лесник разрушил его коварный ход неожиданно и просто:

— А ты слышал, Николай Алексеевич, о чем поют космонавты? — и довольно верно пропел глубоким басом: — «И на Марсе будут яблони цвести»... То-то, голубчик, от леса никуда не денешься. У тебя фамилия Тягунов. Тяни, брат, свою лямку и не жалуйся.

Тягунов покорно замолчал и схватился за спасительную бутылку. Они долго еще сидели за столом, и уже гость угощал хозяина и поддерживал разговор.

— Что такое лес? — грозно вопрошал он, нацелившись сверкающим оком прямо в лицо Тягунова.

Николай Алексеевич молча слушал хранителя лесов и только изредка невпопад кивал головой, как усталая лошадь, отгоняющая назойливую муху.

— Лес — это древесина! — как из пушки рявкнул лесник и покачнулся. — А что такое древесина? — пробормотал он невнятно, уже лежа на раскладушке. — Древесина — это оборона. Без березы и приклад к винтовке не сделаешь... — и захрапел.

Николай Алексеевич прибрал на столе, накинул на плечи полушубок, вышел на крыльцо. На дворе позимнему быстро темнело. Во всех домах ярко светились окна. Посвистывал восточный ветерок, срывал сыпучий перемороженный снег, гнал его струями, переметая дороги и дорожки.

«К утру разыграется, переметет аэродром, и самолетов опять не жди, — отметил про себя Николай Алексеевич. — Лесник уйдет завтра на лыжах. Надо подготовить служебную почту».

Потирая озябшие руки, он вошел в комнату, разложил на столе срочные бумаги с суровыми резолюциями и попытался сосредоточиться. Успешно сочинив несколько ответов, невзирая на свирепый храп лесника, Тягунов все же вынужден был прекратить работу.

К соседям собрались скоротать вечерок друзья-приятели. Каждое слово, произнесенное вполголоса за тонкой перегородкой, было отлично слышно, и Тягунов невольно прислушивался.

Николай Алексеевич хорошо знал своих соседей. Он мог, не видя их, только по голосу представить выражение лиц говоривших.

— Армия, браток, это — порядок! Не то что у нас в геологии. Там стал в строй — замри!

Это говорит завхоз, бывший майор, командир батальона. При этом он наверняка стоит по стойке смирно, выпятив грудь и вскинув подбородок.

В образовавшуюся паузу проникает голос Игоря Леонидовича Петкевича — электропилищика, ранее работавшего дирижером:

— Опера «Риголетто» была написана всемирно известным композитором Верди после того...

— Статья 91 Уголовного кодекса РСФСР карает сроком до 10 лет, — перебивает Петкевича Серега Законник — завязавший вор, досконально на память знающий Уголовные кодексы всех республик и Указы, направленные против правонарушителей.

И прямо в самые уши — голос его жены, акушерки, которая делится богатым опытом со своей подругой:

— Ты знаешь, милочка, интеллигентный ребенок на восьмой неделе внутриутробной жизни может испытывать тяжелейшие душевные потрясения...

Николай Алексеевич ясно представляет, как при этих словах она значительно поджимает губы и закатывает глаза, хватаясь рукой за сердце.

«Вот и попробуй ответить тут срочно и немедленно», — огорченно вздыхает начальник и, расстелив на полу запасной спальный мешок, быстро раздевается.

— Отдохнули, поохотились, а завтра на работу, — подсмеивается над собой Николай Алексеевич, вспомнив только сейчас, что утром забыл умыться.

Он быстро засыпает, не обращая внимания на храп лесника, не дослушав «строевой устав» в изложении завхоза, историю создания оперы «Риголетто», окончание Уголовного кодекса РСФСР и процесс душевного развития интеллигентных детей на последующих неделях внутриутробной жизни.

Завтра связи не будет



правляющего трестом и главного инженера в городе нет, — сказал радист, поправляя наушники, и сочувственно оглядел заиндевелую одежду Голубева.

— Вызывай заместителя, а я пока приду в себя после этой гонки.

Устало кивнув головой, Голубев сбросил лохматую мокрую внутри шапку, негнуцимися пальцами заскреб пуговицы ватной фуфайки. Промерзшая насквозь, она стала на полу вертикально. С костяным стуком упали связанные шнурком, как у детей, меховые рукавицы.

Едкий запах пота, наполнивший крохотное помещение радиостанции, заставил радиста чихнуть. Изредка поглядывая на неурочного посетителя, он внимательно следил за эфиром, убирая легкими поворотами рукояток посторонние голоса и шумы.

— Чуркин у аппарата, — хорошо поставленным баритоном заявил приемник.

Стараясь не торопиться, отчетливо выговаривая слова, отчего они звучали нарочито казенно, начальник разведочного участка Черное озеро читал заготовленный текст:

«Тринадцатого января провалился под наледь геолог Василий Шатров. Спасая рудные пробы, Шатров обморозился. Четырнадцатого заболел. Сегодня, пятнад-

цатого, утром температура — 40. В мокроте — кровь. Возможно двухстороннее крупозное воспаление легких. Прошу завтра с 12 до 14 местного самолет с посадкой на Черное. Гарантирую готовность площадки при любой погоде. Ваше решение жду у аппарата. Голубев».

Приемник озадаченно помолчал, а через несколько минут бесстрастным голосом сообщил:

«Голубеву. Вследствие отсутствия официально принятой площадки Черном озере рейс посадкой планировать не имею права. Больного вывозите базу партии на нартах через главный перевал, Чуркин».

— Что он, буквоед проклятый, с ума сошел? — Голубев рванул к себе микрофон и вопросительно глянул на радиста.

Радист поспешно отключил передатчик, опасаясь скандала в эфире. Хмуρο поддакнул:

— Для бешеной собаки — сто верст не крюк.

Они разом закурили, жадно глотая дым и почему-то стараясь не смотреть друг на друга.

За решетчатым окном радиостанции блестел на солнце огромный снежный горб перевала, перечеркнутый наискось свежей лентой лыжни. Лыжня опасно-плавно отгибала одинокие острые гребни скал, змеилась по краю отвесных снежных карнизов и исчезала на заледенелой вершине. Внимательно разглядывая спуск, будто это не он проложил след час назад, Голубев вздохнул:

— Угробим мы Ваську. И до вершины живого не доведем. Та сторона в три раза круче.

Радист нерешительно повернулся к передатчику, подвинул к себе микрофон, требовательно бросил:

— Хватит трепаться! Завтра воскресенье. Связи не будет. У нас полчаса, чтобы вызвать аэроэкспедицию, минуя трест. Обещать ничего не могу, потому что у летчиков сменилось начальство, но чем черт...

И вторично над обожженной морозами тайгой прямо через непроходимые ущелья и вершины гор полетела тревожная радиограмма, сообщающая о несчастье на Черном озере. Ответ был краток: «Завтра четырнадцать местного сяду Черном. Больного готовьте заранее. Связи не будет. Командир аэроэкспедиции Коробкин».

— Коробкин? — задумчиво протянул Голубев и про себя закончил: — С ним горюшка хлебнем.

Он сразу поскукнел лицом, торопливо засобиравшись в обратный путь. Радист, привыкший понимать с полуслова и даже со взгляда, встревожился:

— Ты его знаешь?

Голубев безнадежно махнул рукой.

— Не было бы счастья, да несчастье помогло.

С усилием передвигая уставшие ноги, Голубев медленно двигался вверх по склону. Угнетающе однообразно скрипел под лыжами вымороженный до стеклоподобия снег. Как пламя электросварки, слепил глаза отраженный свет солнца. Память кадр за кадром рисовала последнюю встречу с летчиком Коробкиным.

В августе пятьдесят первого Голубев, тогда еще молодой техник-геолог, временно замещал начальника партии. С рассвета и до заката он торчал на аэродроме, принимая грузы досрочного завоза. С грузчиком дядей Ваней, который годился ему в отцы, таскал стокилограммовые мешки с сахаром, катал железные бочки с соляжкой и дизельным маслом. Помогал кладовщику разбираться с перепутанными накладными. Вечером до хрипоты ругался с Васькой Шатровым — студентом-дипломником, прилетевшим днем раньше и оставленным из-за нехватки людей для разгрузки самолетов.

Васька, горячо взявшийся за работу в первый день, сразу же внедрил ценное рацпредложение. Он уговорил пилотов сворачивать после посадки со взлетной дорожки и разгружать машины рядом со складом, почти на 100 метров ближе, чем обычно. Этим он завоевал великое уважение кладовщика, Голубева и бывшего солдата дяди Вани.

Самолеты — неприхотливые послевоенные У-2 — садились с интервалом в час-полтора, бороздили хвостовым костылем каменистую почву плоскогорья и, тяжело развернувшись, подруливали к складу. Через пять минут разгруженная машина, прощально качнув крыльями, скрывалась за ближайшим гольцом.

Экономия времени и сил была явная, Васька ходил козырем. Но один из летчиков наотрез отказался сво-

рачивать с дорожки, огражденной белыми флажками.

— Не положено, — коротко буркнул он и отошел в сторону от самолета.

Угрюмо поглядывая из-под низко опущенного шлема, не торопясь закурил.

Васька сделал строгое лицо, поправил сбитую набекрень фетровую шляпу и, протирая массивные роговые очки, придававшие ему солидный профессорский вид, попытался сыграть на самолюбии.

— Если молодые и, можно сказать, еще неоперенные птенцы могут, то орлы-ветераны...

— Если с самолетом случится что-нибудь за кромкой летного поля, меня наверняка отстранят от полетов, — оборвал летчик.

— А вдруг потребуется спасти раненого, — не сдавался Васька. — Как вы будете действовать? Тоже по правилам?

— В зависимости от обстановки и только с разрешения командира, — сердито ответил пилот. Затоптав окурок, он молча полез в самолет.

— Не клюет? — поинтересовался кладовщик и, плюнув от злости, закончил: — Это же Коробкин! Бюрократ воздушный!

— На фронте он бы так не разговаривал, — мрачно добавил дядя Ваня. — Я б его...

— Не орел, а мокрая курица! — кипел Васька. — Трус! Побоялся на полста метров от инструкции отъехать.

Надев свои великолепные очки, он направился в ближайший лесок, срубил две молоденькие березки и, натянув на них два мешка, сделал примитивные носилки.

— Все же не на горбу, — сказал он, заваливая первый ящик.

На этом творческая инициатива товарища Шатрова иссякла полностью. Он часто уходил в роскошное разнотравье альпийских лугов, окружающих аэродром, подолгу курил там, лежа на спине, или собирал букеты цветов. А вечером разругался с Голубевым, требуя немедленной отправки на любую работу.

— Мне для диплома геология нужна, а не бочки с соляром! — кричал он, сбивая на затылок шляпу.

— А для геологии сегодня нужен соляр без всяких

дипломов! — оборонялся Голубев. — Мы же одни здесь не справимся.

— Сила есть — ума не надо, — обидно намекнул Васька на плохую организацию разгрузки до его приезда.

Они спорили долго. Каждый остался при своем мнении, и настроение было испорчено на весь следующий день.

Так же летали самолеты, так же длинным шлейфом поднималась бурая пыль при посадке и взлете, и так же таскали они на носилках тяжеленные мешки и ящики, разгружая машину Коробкина вдалеке от склада и проклиная его хором и в одиночку.

Коробкин, казалось, не обращал никакого внимания на косые Васькины взгляды, на явное недовольство Голубева, на подчас нецензурные речи дяди Вани. Точно по инструкции он делал два круга с постепенным снижением, уходил на третий и, плавно выравнивая самолет на подходе к посадочной полосе, приземлялся строго на три точки.

В этот день Коробкин должен был прилететь последним рейсом. Голубев принес из-под горы большую вязанку дров, разжег костер и послал Шатрова за водой к роднику. Кладовщик с грузчиком сортировали в складе ящики с консервами. Каждый занимался своим делом, и никто не повернул головы на ставший привычным шум мотора.

Автоматически отметив по звуку «пошел на посадку», Голубев нагнулся над огнем, поправляя дрова, и вдруг почувствовал, что падает на костер, сбитый с ног толчком в спину. Неожиданный порыв ветра ураганной силы внезапно ударил с гольцов, разметал сложенные шатром дрова, погасил огонь и поднял тучу пыли. Коротко щелкнув, лопнули растяжки палатки, и она свалилась, как карточный домик. Прокатились с грохотом сложенные штабелем пустые железные бочки, и в наступившей тишине надрывно загудел мотор самолета.

Ничего не понимая, Голубев смотрел на самолет без хвоста, который катился по луту, приближаясь к посадочной полосе.

Вот он выскочил из высокой травы на площадку, резко накренился, почти цепляясь крылом за землю,

выпрямился и, покачиваясь с боку на бок, как подстреленная птица, грузно пополз к постоянному месту посадки. Мотор отработал по правилам на полных оборотах и заглох.

Подбежав к самолету со стороны пропеллера, Голубев видел, как Коробкин, придерживая планшет, прыгнул на землю, широко шагнул и вдруг, словно подрубленный, упал на колени. Узнав Голубева, сказал отчетливо:

— Радируйте немедленно...

И, поблуднев, с маху сунулся лицом в пожухлую траву аэродрома, будто земно поклонился разбитому самолету.

Поворачивая летчика вверх лицом, Голубев заметил, что от склада бегут кладовщик и Васька с пустым ведром; задыхаясь, сзади ковылял дядя Ваня. Трясущимися руками Голубев достал из кармана блокнот, написал короткую радиограмму, отдал Шатрову.

— Бегом на рацию. Здесь всего километр по тропке через родник. Ответ мне сегодня.

И уже более спокойно дяде Ване:

— Что делать будем?

— В холодок его бедолагу, раздеть и тряпку с холодной водой на голову. Он сейчас от удара — вроде контуженный.

Возле склада Коробкина осторожно переложили с носилок на спальный мешок. Сняли шлем, сапоги, расстегнули простенький синий комбинезон. Голубев аккуратно свернул гимнастерку, на которой тускло поблескивала единственная медаль «За победу над Германией», бережно положил на планшет. Мягкими, но сильными движениями дядя Ваня вытер полотенцем с лица и тела летчика холодный липкий пот. Глядя на многочисленные старые шрамы от ранений и ожогов, горестно покачал головой.

— Дорого ты, браток, заплатил за победу. Дырок-то на тебе в десять раз больше, чем наград.

Опасливо ощупывая в поисках перелома расслабленные, словно ватные, руки, кивнул Голубеву и чуть приподнял левую кисть пилота. На мертвенно белой коже предплечья резко выделялся наколотый синей тушью номер 90343.

— Мать честная! — ахнул дядя Ваня. — Он лагерник. Смертник! Вон где его ордена остались.

Подошел запыхавшийся Шатров. Неуместно громко пошутил:

— Ну как тут наш горе-сокол?

Дядя Ваня пригладил ладонью сбившиеся комом черные с проседью волосы летчика, положил на лоб смоченное холодной водой полотенце. Коробкин вымученно застонал и, натужно выталкивая слова, заговорил:

— Командир, ветер сверху прижал на подходе. Виноват, не дотянул до посадочной, — и бессвязно: — Я полечу. Не отстраняйте меня! Главное, пройти через проволоку. Только не отстраняйте! Я фашистов...

Он страшно заскрипел зубами.

— Бредит, — шепнул дядя Ваня, — все еще воюет орел. — И укORIZненно посмотрел на Васку.

Незаметно, не обижая Голубева, дядя Ваня принял на себя командование: Шатрова направил разжигать костер и готовить ужин, кладовщика посадил дежурить возле больного, Голубева уговорил лечь и отдохнуть пару часов. Не вдаваясь в подробности, заявил, что уходит к месту аварии.

Вернулся он поздно, когда совсем стемнело. Справился о здоровье Коробкина, неторопливо поужинал и долго пил крепко заваренный чай. В разговоры не вступал, отделяясь от вопросов двумя-тремя словами.

Оставшись наедине с Голубевым, подсел поближе и, глядя ему прямо в глаза, чуть-чуть смущаясь, сказал:

— Ты на мою самостоятельность не обижайся, начальник. И ничему не удивляйся. Хвост самолета, все обломки фанерные до последней щепочки уже лежат на площадке, где им и положено.

— А что он, — дядя Ваня повел глазами на летчика, — бредит «виноват, не дотянул», так бред есть бред. И ни черта он не виноват! Другого таким ветром в лепешку бы смяло. Не дотянул он всего метров тридцать, а хвост оторвался на камне. Там их, проклятых, в траве, как блох на хорошем бобике. Комиссия прилетит завтра. Пусть она обвинит нас за плохо подготовленную площадку, а его в трату давать нельзя ни в коем разе. Комиссии бывают разные: попадет-

ся какой-нибудь охломон, который пороха не нюхал, припомнит ему плен и запросто отстранит от работы. Ты, начальник, ничего не видел, ничего не знаешь. Понял?

Дядя Ваня достал из-под крыши склада косу-литовку, сунул в сапог брусок. Просительно добавил:

— Ваську отправь, пожалуйста, в поселок, а то он, чертов губошлеп, еще брякнет чего не надо. Я при месяце закошу всю траву на подходах — следов не будет.

Ссутулившись, будто взвалил на плечи непомерно тяжелый груз, он ушел навстречу поднимавшейся из-за скалистого гребня луне.

Коробкин до утра находился в бессознательном состоянии. Отправили его первым самолетом, и он ничего не узнал о ночных хлопотах дяди Вани.

На участок Голубев вернулся ночью. Ему доложили, что Шатров по-прежнему плох, что площадка на середине озера утоптана и обставлена флажками. Спал он беспокойно. Ему чудился во сне Коробкин, который категорически отказывался садить самолет на снег и требовал покрыть взлетную полосу бетоном.

Просыпаясь, Голубев чутко прислушивался: тихо, ветра нет. Не доверяя тишине, подолгу ворочался на своем топчане, много курил.

Утро было чудесное: чистое небо, яркое солнце, небольшой мороз. Многие засобирались на охоту. Голубев запретил:

— Ребята, у нас с командиром джентльменское соглашение. Связи не будет. Мы не сможем предупредить летчиков, если ветер испортит площадку. Подведем их и не вывезем больного геолога. Нас двадцать семь. Может потребоваться каждый.

Несмотря согласились.

Голубев тревожился не зря. Часам к десяти на обрывах гольцов закурился белым прозрачным дымком поднятый ветром снег.

— Идем все на озеро, — распорядился Голубев. — Семь человек останутся для перевозки больного. Они проверят нарты, выйдут в двенадцать тридцать.

На полходе к озеру стало ясно: погода испортилась

окончательно. Зажатое с трех сторон тисками гор озеро дымилось поземкой. Снежные смерчи в центре плясали свою безумную пляску, стихая у берегов, рассыпаясь белой пудрой. Широкие полосы сугробов росли на глазах, уничтожая ранее утоптанную посадочную полосу.

Двадцать человек плечом к плечу, след в след двинулись, разбивая широкими лыжами наметанный снег и выравнивая поверхность аэродрома.

«Четыреста метров длины, сто ширины. Больше пятнадцати метров по ширине за одну ходку не сделать. Надо пройти минимум шесть раз», — подсчитывал на ходу Голубев. Заверачивая строй на второй заход, увидел, что свежепройдённый след уже заматает снегом.

«Гарантирую готовность площадки при любой погоде», — с отчаянием вспомнил Голубев конец своей радиограммы. Эта фраза казалась теперь мальчишеской похвальбой.

«Делать площадку посередине озера — все равно, что воду в ступе толочь», — отметил он про себя через час бесполезной работы.

«У берега ровный снег, но самолет сажать нельзя: рядом лес, скалы. Да и летчик не рискнет при таком ветре. Особенно Коробкин».

Мысли одна беспокойнее другой лихорадочно прыгали с одного варианта посадки на другой. Все варианты были предельно опасны.

Привезли Шатрова. Нарты поставили в затишке у самого берега. Он подозвал Голубева. Сквозь одеяло, закрывающее голову, спросил глухо:

— Кто прилетит?

— Командир прилетит, Вася, — успокоил его Голубев. — Ты об этом не думай.

Точно в четырнадцать сквозь шум ветра послышалось комариное пение мотора. Голубев глянул еще раз на изуродованную сугробом площадку, на посадочное Т, выложенное посередине, нетромякно сказал:

— Посадку запретить! Выкладывают крест. — Левая щека его нервно задергалась. Он прижал ее рукавицей, отрывисто добавил: — Иначе разобьем машину.

Поперечное черное полотнище, пересекавшее в цент-

ре продольное, образовало крест, видный даже сквозь пургу.

— Похоронили аэродром, — сквозь зубы обронил кто-то.

— Человека живьем хороним, — уточнил другой.

Самолет сделал круг, снижаясь, пошел на второй.

— Что он, ослеп? Запрета не видит!? — злясь на летчика, бормотнул Голубев и пулей скатился с крутого берега.

Махая руками, он побежал по озеру, словно хотел собой загородить посадочную полосу. В памяти неотступно стояло бледное каменно-неподвижное лицо Коробкина, падающего без сознания под самолет.

— Нельзя! Нельзя-а! — закричал он, будто летчик мог его услышать.

Самолет, новенький Як-12, поблескивая на солнце лакировкой, стремительно пронесся над Голубевым, оглушив его ревом мотора. Мелькнуло напряженное лицо летчика, и машина развернулась на новый круг. Коробкин явно намеревался посадить самолет в стороне от площадки — ближе к берегу.

Только с шестого захода он пошел на посадку, держась впритирку к береговому обрыву.

— Пропал! — решил Голубев, не в силах отвести взгляда от лакированной стрекозы.

Скользнув вдоль обрыва, ощерившего изломанные зубья скал, самолет мягко тронул лыжами снег и на мгновение исчез в облаке белой пыли. Машина еще продолжала двигаться, а люди уже бежали навстречу, забыв от радости все правила и инструкции.

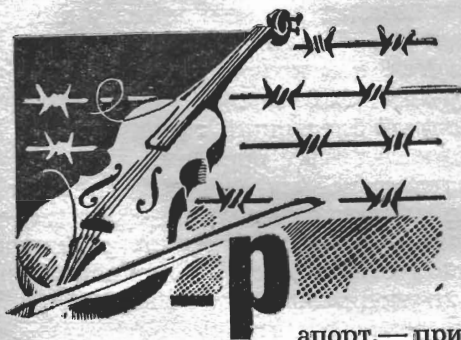
— Вытопчите по моему следу узенькую полосу метров на сто длины, — сказал Коробкин, крепко пожимая Голубеву руку, — а пока грузите больного.

Обессилевшего Шатрова на руках подняли в самолет. Он отогнул высокий ворот полушубка, сверкнул очками.

— Неужели Коробкин? Орлы-ветераны?.. — изумленно прошептал Васька.

— Они же мокрые курицы и воздушные бюрократы, — подхватил, вспоминая, Коробкин, — только постаревшие на восемь лет.

Один за всех



апорт,— приказал блокфюрер, не доходя пяти метров до проволоки, загораживающей вход в барак.

Староста заученным движением сорвал с головы плоскую, как блин, полосатую шапку, отчеканил:

— В блоке номер тридцать семь числится триста девяносто восемь заключенных. Больных нет. Один мертв. Повесился ночью.

Закрываясь от дождя полый плаща, блокфюрер потянул из кармана тетрадь, спросил:

— Номер?

— 123905. Политический, француз.

— Команда?

— Музыкальная. Скрипку сдадим после.

Уборщики блока вынесли самоубийцу, положили в грязь возле проволоки.

К бараку грузно подкатил вместительный автоприцеп, который тащили запряженные веером заключенные. От мокрой одежды шел пар, резко пахло карболкой.

Четверо в резиновых фартуках и перчатках, не обращая внимания на табличку «Запрещено. Карантин», вытащили труп из-под проволоки, раскатали на руках и с силой бросили в высокий кузов. Голое тело, нелепо

махнув руками, перевернулось в полете и тяжело упало вниз лицом на дно кузова. Брызнула жидкая грязь.

— Тройное сальто, — хохотнул блокфюрер.

Придирчиво осмотрев временные заграждения, отделяющие блок от всего лагеря, он остался доволен: «Мышь не проскочит». Покосился на окна — никого не видно.

«Комендант — трус». С иронией вспомнил его слова: «Не допускайте организации заключенных; у них один за всех и все за одного». «Какая там к черту организация. Они перегрызутся, как крысы в закрытой бочке. Один повесился, другим дела нет».

Он отряхнул мокрый блестящий плащ, неторопливо зашагал через плац к лагерным воротам.

Продрогший староста все еще стоял без шапки на-вытяжку, не мигая смотрел ему вслед.

— Ушел, негодяй, — молодой арестант с нежным продолговатым лицом отшатнулся от оконного косяка, костлявыми руками уцепился за торец верхних нар, с трудом подтянулся, лег на живот.

Очнулся дремавший сосед:

— Ну, что там?

— Еще один не выдержал: залез в петлю. Уже увезли.

Сосед, чех с красным треугольником на груди, подвинулся ближе, перешел на шепот:

— Не всему верь, юноша. Могли и повесить.

— Кто? — дрогнул всем телом молодой заключенный.

— Тихо надо.

Чех зашевелил губами почти беззвучно:

— Ты в лагере недавно. Здесь жестокий порядок: первый, заболевший тифом, идет в лазарет, второй — в лазарет, а с третьим весь блок — четыреста человек — идут в крематорий. Фашисты боятся эпидемий: рядом Берлин. В карантине болеть нельзя. Старые заключенные — уголовники — зорко следят за всеми. Они не будут разбираться, что у тебя ангина, грипп или тиф. Особенно сейчас, когда тифом заболели уже два человека. Они считают, что лучше выдать один труп «самоубийцы» с веревкой на шее, чем пустить в трубу четыре сотни заключенных.

Юноша опустил голову на руки, заговорил невнятно:

— Мерзавцы. Какие мерзавцы!

Чех дружески похлопал новичка по плечу, осторожно оглядываясь заметил:

— Распускаться нельзя. Нервничать нельзя. Это — лагерь. Старайся не выделяться. Здесь основное: уметь раствориться в массе. Ты и так приметный.

Он легонько коснулся пальцами бледной щеки, на которой алел неровными краями свежий шрам.

— Такая примета опасна. Будь осторожен, русский камрад. Не лезь на глаза блоковому начальству. У власти уголовники, хотя в последнее время кое-где политические берут верх. Запомни: один ты ничего не сделаешь.

Словно от толчка в грудь русский поднялся на локтях. Бешено блеснули синие глаза, гневом сломились брови:

— Сидеть и ждать, пока задушат?

— Сидеть надо еще восемь дней, а ждать надо долго. Учись ждать, — спокойно сказал чех.

Глаза его подернулись пеплом. Взгляд стал печально-задумчивым. Он помолчал немного и подчеркнуто твердо продолжил:

— Жить на этой живодерне и оставаться человеком трудно. Но возможно. Для начала учи лагерный жаргон. Это смесь всех языков. Без него не обойтись. Здесь немногие знают русский язык, как я.

Это был седьмой день карантина.

Карантин выбил из привычной колеи обитателей тридцать седьмого блока с самого начала. Резкий переход от изнуряющей работы к полному безделью все заключенные переносили одинаково болезненно. Первые дни после утренней поверки почти все спали. Была пора осенних дождей, и многие радовались, что не надо мокнуть с утра до вечера на холодном ветру. Что-то ненормальное, нездоровое было в этом повальном сне. Спящие невнятно кричали в бреду, вскакивали, оглядываясь невидящими глазами, и снова падали на нары.

По долгу службы бодрствовал староста и уборщики блока. Не спал и лагерный переводчик — политический заключенный, немец, свободно владевший шестнадцатью языками. Лысая круглая, как арбуз, голова переводчика крепко сидит на кургузом болезненно-полном теле с отечными ногами. За выпуклыми стеклами очков

прячутся доверчивые карие глаза. Они смотрят на людей кротко и удивленно с наивной верой ребенка, ждущего от взрослых только хорошего. Самый рассеянный человек в лагере, он пользуется особой привилегией и никогда не снимает шапку перед эсэсовцами; потому что все равно забудет это сделать. От подъема до отбоя переводчик ходит по бараку из угла в угол, как неприкаянный грешник, бормоча под нос что-то непонятное. Изредка для практики вступает в разговор с испанцами или с французами, еще реже с итальянцами или греками. С немцами, голландцами, бельгийцами, люксембуржцами и венграми он почти не разговаривает — бережет свое время. Охотно и долго говорит с русскими. Восхищенный богатством языка, порой совсем забывает о собеседнике, обрывает разговор в самый неподходящий момент и подолгу повторяет полюбившееся слово.

На третий день карантина в лазарет отправили второго заболевшего тифом. Жители блока будто очнулись: редко кто укладывался спать до отбоя, и если ложился, то спал вполглаза, боясь, чтобы не признали больным. Уголовники резались в карты, баптисты, собравшись в кружок, шептались о божественном, остальные развлекались как могли. Барак наполнился стуком деревянных подошв и разноязычным говором. Целый день в углу на нижних нарах Митька-сказочник мучил слушателей своими рассказами: «И вот подают царю жареного целиком кабана. Кабан насквозь пропитался салом, румяная корочка хрустит, жир течет. Берет царь в правую руку свиную ногу, а в левую целую буханку хлеба...».

Слушатели ловят каждое слово, сглатывают слюну, жадно блестят голодные глаза. А Митька продолжает вдохновенно врать. Он широко жестикулирует, клацает зубами, показывая, как царь пожирает жареную свинью. Огромный редкозубый рот Митьки не закрывается ни на минуту. Щуплая фигурка, напоминающая оципанного в драке молодого петушка, трясется от возбуждения. Жареного кабана сменяет не менее аппетитный гусь.

На самом интересном месте рассказ прерывает хлесткий удар. Митька взывает от боли, слушатели — от возмущения, но громче всех орет жилец средних нар:

— Заткнись, чертова зануда! Ты меня с ума сведешь этими поросятами, гусями и жареными баранами. Братцы, забейте ему портянку в рот, а то я его живьем съем, паразита!

Сверху свешивается толстый длинный ремень с увесистой медной бляхой.

Митька и слушатели спешно перебираются в другой угол. Они упиваются рассказами о еде, как наркоманы морфием.

Так текут дни. Томимые голодом и бездельем узники, как тени, слоняются по бараку.

Ползут тревожные слухи один страшнее другого. Все раздражены. Нервы взвинчены до предела. Гнетущая атмосфера неизвестности, ожидания близкой беды накаляется с каждым часом.

На короткий миг она разряжается в ссорах и драках по пустякам. Вот в узком проходе между нар сцепились из-за окурка двое. Две до черноты высохших мумии громко выкрикивают страшные ругательства. Они готовы перегрызть друг другу глотки. Оба примеряются к последнему броску, шатаясь от слабости на тонких ногах. Сшиблись, как петухи, и сразу падают на пол. Оба плачут: драться нет сил.

На верхние нары, надсадно дыша, вскарабкался похожий на заморенную обезьяну черноволосый смутлолицый арестант. Мешая русские и польские слова, представился:

— Я естм круль польских цыганов.— Не дождавись ответа, продолжает: — За одну сигарку всю правду расскажу.

Чтобы отвязаться, русский со шрамом протянул руку. Деловито посапывая, цыганский король долго разглядывал сложный рисунок кожи. Изрек глубокомысленно:

— Матка твоя плачет.

— Наверно, плачет,— безразлично согласился русский.

Предсказатель оживился:

— И батька твой плачет.

— Не может он плакать. Его в сорок первом убили.

— А он на том свете плачет,— не растерялся цыган.

— Ты пан красивый, ты счастливый. Все паненки

твои будут. Они ясноглазых любят. За два тыгодня ты бэндешь звольненный и вшистка задоволенный.

— Иди ты со своим гаданием, куда подальше, чертов брехун,— не вытерпел чех.

— Цо вы мовите, пани чеху? Цо вы мовите? Ойтец небесный накажет вас: вы не умрете на своей постели.

— Пошел вон, образина,— взорвался чех, сталкивая короля на пол.

Кривясь от боли, цыган поднимается и кричит сквозь слезы:

— Цо хцешь ты, человек дрогий! За едну сигарку царство небесное на земле сделать даже я не могу.

В эту ночь новичка назначили на вахту. Он сидел перед столом, сонно поглядывая на стрелки будильника. Через каждые пять минут на воротах лагеря ярко вспыхивал мощный прожектор. Слепящий луч обшаривал слева направо всю территорию, заглядывал в окна, высвечивая каждый закоулок.

За занавеской на отдельном топчане грузно ворочался староста блока.

До смены оставалось немного, и дежурный утомленно прикрыл глаза. Отрывистый глухой удар об пол подбросил его со скамьи.

В блоке ничего не изменилось. Похрапывал староста, поскрипывал топчан. По блоку слева направо передвигался свет прожектора. Дежурный машинально сопровождал его взглядом. Около занавески матово блеснул футляр скрипки. «Упала»,— догадался он и, не раздумывая, спрятал ее под стол.

Восьмой день карантина—воскресенье—родился в тумане. Но вскоре сырое тяжелое месиво дрогнуло, прогретое солнцем, медленно поползло вверх. Последние седые космы еще клубились над мокрой землей, а солнце уже искрилось в каждой капле воды. Повсюду вспыхивали и тут же гасли игрушечно-маленькие радуги.

Переводчик распахнул окно. Острый запах хлорной извести и лизола вырвался из душного барака, потянул по плацу.

Блаженно жмурясь, переводчик уместился перед окном, подставил солнечным лучам руку, сказал по-русски:

— Воскресенье. Воскрес. Воскрес—возродился.

Он улыбнулся и продолжал раздельно по слогам, будто прислушиваясь к каждому звуку:

— Воск-рес.

И по-немецки:

— Зонтаг. Зон таг. Зон — солнце. Таг — день. Солнечный день!

Восхищенно покачал головой, повторил с наслаждением, отчетливо выговаривая каждую букву:

— Солнечный день! Солнце! Какое звенящее, ласковое слово! Люди, у нас есть солнце!

Переводчик неожиданно замолчал, пристально глядя в окно, забыв закрыть рот.

Возле стены блока, среди репьев прихорашивался щегол. Он деловито разгладил перышки, устроился поудобнее, блеснул бусинками глаз и запел хрустальным, ломким голосом. Милая бесхитростная песня полилась, как серебряный ручеек, в окно барака. Затихли на ближних нарах заключенные. Кто-то сказал:

— Тише, товарищи.

Крошечный певец сверкнул красной головкой и исчез.

Плотная, морозящая дождем пелена тумана навалилась на лагерь.

Закрывая окно, переводчик растроганно бормотал, как всегда, сам для себя:

— Какая сила! Какая чудесная сила! Чудо. Чу-до.

Блок зашумел привычно, монотонно. Серый, как арестантская одежда, день начался.

И вдруг в бараке у окна громко с переливами снова засвистел, запел щегол. Его нежный свист пробился сквозь приглушенный гул множества голосов, заиграл задорно, дробясь на множество звуков, по всему бараку.

Шум постепенно стихал, люди недоверчиво поворачивались к окну. С верхних нар свесились стриженные — в полутьме все на одно лицо — головы.

Только хрипящие от злости голоса доходяг мешали певцу.

Ловко брошенный деревянный башмак крепко стукнул одного из спорщиков по затылку. Оба враз замолкли.

А щегол пел. Пел, как не пела ни одна птица на свете: звонко, весело, явно сбиваясь на плясовой лад.

Угрюмые лица заключенных, давно забывших, что такое улыбка, просветлели, оживляясь против воли, постепенно стиралось настороженно-злое выражение глаз. Еще мигута, две — и оно исчезнет совсем. Но певец смолк.

Мгновенье в блоке царила небывалая тишина. И словно взрыв — аплодисменты. Тесня друг друга, заключенные со всех сторон хлынули к окну. Наиболее сметливые и ловкие прыгали по верхним нарам через лежащих людей, не оглядываясь, не отвечая на ругань.

У окна, окруженный плотной толпой, стоял молодой заключенный. Продолговатое донельзя изможденное лицо его отрешенно-спокойно, глаза закрыты. Чуть заметно вздрагивали тонкие ноздри. Нежную кожу щеки прочерчивал рубец шрама. Двумя руками он бережно прижимал к груди скрипку и церемонно, как на сцене, кланялся слушателям.

Со стороны входа в толпе возникло движение.

Послышался глухой бас старосты блока. Аплодисменты угасли. Теснясь и подталкивая друг друга, узники торопливо освобождали проход. Ступая по-медвежьи, староста блока, немец, бандит, осужденный на пожизненную каторгу, подошел к музыканту, волосатой рукой властно взялся за гриф. В горле музыканта что-то жалобно пискнуло, будто оборвалась последняя струна. Он всхлипнул и разжал пальцы. Синие блестящие глаза встретились с жесткими умными глазами старосты.

Старый каторжник мрачно смотрел на нарушителя порядка, а его рука гладила и ласкала скрипку. Все затаили дыхание. Еще миг и...

Староста искоса глянул на напряженно замершую стену заключенных. Собранное волевое лицо окаменело. Он перевел взгляд на номер музыканта. Густые, черные с проседью брови удивленно полезли вверх, морщина темную кожу на лбу. Дрогнул литой тяжелый подбородок:

— Русский? Новичок!

Свободной рукой повернул скрипача к двери:

— Иди вперед.

— Убьет, гад, — тревожно выдохнул кто-то.

Староста усадил музыканта за обеденный стол, по-

ложил рядом скрипку и скрылся за занавеской, отделяющей его каморку от общего помещения.

Он быстро вернулся, неся в обеих руках хлеб, масло, банку сардин и пачку печенья.

Аккуратно разложил все на столе, вскрыл консервы, нарезал хлеб и грузно сел на скамейку. Грубо обтесанная фигура обмякла. Отвернувшись в сторону, чтобы не смущать голодного человека, прогудел:

— Ешь.

Блок облегченно вздохнул.

— Значит и он человек. Этого ни в одной сказке нет! — радостно объявил Митька, сверкнув голубыми глазами. Напрасно старался музыкант прилично вести себя за столом, напрасно удерживал дрожь в руках — голодной дрожью дрожали тонкие длинные пальцы, дрожала неровно стриженная голова, судорожно двигался на худой цыплячьей шее несуразно большой кадык, когда он торопливо глотал непрожеванные куски.

Постепенно бледно-серое лицо его порозовело, на лбу мелким бисером высыпал пот.

— Спасибо.

Он устало откинулся к стене, отодвигая нетронутое печенье.

Староста насмешливо шевельнул совиными бровями, кивком подозвал уборщика блока:

— Кофе быстро. Подай в моем стакане. — И, повернувшись всем телом к скрипачу: — Не надо притворяться. Я ведь одиннадцать лет за решеткой.

Пока скрипач пил кофе, он молча сидел за столом, тоскливо глядя в окно.

Там за мутным от влаги стеклом прихотливо ломались линии проволочных заграждений. За ними расплывалась в сетке дождя громада лагерной стены.

Ни к кому не обращаясь, староста привычно рыкнул:

— Никаких аплодисментов. Я ничего не знаю. Отдыхаю до вечерней поверки.

Заключенные снова собрались вокруг музыканта. Только у каждого окна, выполняя неизвестно чей приказ, осталось по одному человеку. Это был восьмой день карантина.

Девятый и десятый промелькнули незаметно, потонув в музыке: скрипач играл почти без перерыва, пов-

тория по несколько раз одни и те же песни по просьбе благодарных слушателей. Играл он вдохновенно, отдавая скрипке последние силы. За эти дни он исхудал еще больше. Его усиленно подкармливали, делясь последним куском, но он слабел с каждым часом. Он чувствовал острое недомогание, вялость, какую-то разбитость во всем теле. Порой мучили острые головные боли, бессонница. Обеспокоенный сосед — чех, прислушиваясь ночью к бреду скрипача, отодвигался как можно дальше: музыкант горел, как в огне. Сегодня в умывальнике чех ясно видел на животе и груди больного мелкие розовые пятнышки круглой формы. «Брюшной тиф», — убеждаясь в своей догадке, испуганно подумал чех. Начинаясь одиннадцатый день карантина.

Над лагерем опять ползли рыхлые тучи. Сновали по плацу промокшие до нитки арестанты, а в карантинном блоке играла скрипка. Но этот раз недолго. Скрипач не вышел к обеду: его мутило от одного вида баланды. Он лежал на нарах почти весь день. С трудом разлепил спекшиеся губы, подозревал чеха:

— Что у меня? Тиф?

Чех торопливо закрыл ему рот ладонью, замотал головой, пряча глаза.

Перед вечером случайно осталась открытой входная дверь. Холодный сырой воздух остудил горящую голову скрипача. Он почувствовал облегчение, встал, выпил воды и заиграл.

Это была импровизация. Казалось, что с барака сняли крышу, раздвинули стены и в голубом бездонном небе засияло солнце. Купаясь в его лучах, трепеща крыльями в потоке теплого воздуха, пел жаворонок. Пел по-весеннему заливисто, звонко, славя жизнь и свободу. Мелодия не повторялась — она была бесконечна. Вот она незаметно перешла в глубокое раздумье, повела слушателей в давно забытый мир юности, любви, счастья.

Лагерный переводчик шевелил губами, беззвучно выговаривая «боже мой», — по привычке переводя эти слова на все шестнадцать языков.

Митька-сказочник в немом восторге схватился руками за голову и покачивался в такт музыке.

Староста блока лежал за ширмой на топчане, горестно морщился и курил одну сигарету за другой.

Раздумье сменилось тревогой. Что-то темное, тяжелое выходило из-под смычка, настораживая слушателей.

Вдруг скрипка вскрикнула отчаянно и больно. Резкие пронзительные звуки понеслись, заметались по блоку, сжимая сердце, останавливая дыхание. Они постепенно затихли, переходя в заунывный тоскливый напев.

Обычно неподвижное, бесстрастное лицо скрипача беспрерывно менялось: оно то бледнело, то горело болезненно-ярким румянцем. Тонкие брови страдальчески изогнулись, глаза светились болью. В сумрачном свете дождливого дня его видели только стоящие вблизи. Для остальных оно было неясно, размыто.

— Вот это да! — прошептал Митька, не сводя с музыканта преданного взгляда, — как по нотам.

— Это верно, мой друг, — тихо ответил переводчик, — только ноты у него особые: железные.

Он взглядом указал на проволоку, натянутую по высоковольтным изоляторам вблизи окна. Стальные колючки чернели на фоне дымчато-серого неба, как нотные знаки страшной музыки. Воздушная влага оседала на них и собиралась в блестящие капли. Казалось, что колючие ноты молча плакали над теми, для кого были созданы.

А музыкант все играл и играл. Безнадежное отчаяние слетало со струн. Стало так тяжело, будто смерть уже пришла.

Напев смолк внезапно.

На секунду смычок птицей повис над скрипкой и вдруг снова ударил по струнам.

«Нет примиренья со смертью! Нет! Надо жить, надо бороться!» — пела скрипка.

Звуки были пронизаны ненавистью, звали к борьбе.

Грудь музыканта поднималась толчками. Он был бледен. Пересохшие губы плотно сжаты. На скулах перекатывались желваки.

Маршево-четкий ритм чудесной властью сплотил четыреста человек двадцати национальностей, разных вер, разных убеждений. Набатный призыв поднял их на ноги, вселяя веру в жизнь, в свободу.

Если бы кто-нибудь распахнул дверь и бросился рвать руками проволоку, за ним бросились бы все.

Могучий напев загремел грозой:

— На бой кровавый, святой и правый, марш, марш вперед! — и оборвался.

Безжизненно повисли руки музыканта. Он слепо шагнул в толпу и пошатнулся. Иссохшее горячее тело подхватили, понесли на нары.

Староста положил на лоб больного руку и сразу отдернул, будто обжегся. Косматые брови сошлись на переносице:

— Дело ясное, мальчик...

— Мальчик абсолютно здоров, — неожиданно перебил переводчик, — это голодный обморок.

Непривычно твердо глядели его глаза. Голос был решителен и строг.

Староста метнул в него быстрый взгляд исподлобья, проворчал неопределенно:

— Может быть, — и, немного помешкав, уже уверенно: — Вполне может быть.

Музыкант очнулся глубокой ночью. За стеной в проволочных заграждениях уныло гудел ветер, раскачивая плохо закрепленный фонарь. Тусклые блики скакали по потолку, неровно освещая спящих. Стараясь не разбудить соседа, музыкант вытащил из-под матраца поясной ремень, сунул под рубашку. Шатаясь от слабости, бесшумно прошел мимо дремавшего дежурного в туалет, тихо притворил дверь.

Утром двенадцатого дня блокфюрер принял очередной рапорт:

— В блоке номер 37 числится 397 заключенных. Больных нет. Один мертв. Повесился ночью. Номер 159 321. Русский. Политический.

Блокфюрер записал и отошел в сторону. Четверо в резиновых фартуках нагнулись над мертвецом.

Староста быстро шепнул им что-то. Четверо осторожно подняли труп, понесли к прицепу, еще четверо вскочили в кузов, приняли и бережно уложили.

Оглянувшись, блокфюрер увидел: вдоль открытых окон замерли в строю заключенные 37 блока, провожая взглядами прицеп.

По спине эсэсовца пополз неприятный холодок: «Пожалуй, комендант прав».

Замкнутый круг



После отбоя лагерь обычно замирал. Хожение по территории пресекалось пулеметным огнем. В нарушение всех правил в эту ночь по дороге, окаймляющей апельлылац, шли два человека. Дорога не имела ни конца ни начала: она обнимала площадь для построений неразрывным километровым кольцом. Огненный меч прожектора, секущий лагерь слева направо, временами освещал идущих, но никто в них не стрелял. За ними внимательно наблюдали двое штатских и офицер с серебряным шитьем на петлицах мундира, стоявшие в нише лагерьных ворот рядом с часовым.

В свете прожектора отчетливо виднелась высокая худая фигура в полосатом халате. Возле нее — вторая, пониже. Уродливо длинные тени их то падали на стоящие в ряд бараки, то скользили по лагерьной стене.

Когда они прошли мимо ворот, офицер наклонился к стоящему возле него низкому толстому человеку в очках с сильными выпуклыми линзами.

— Мне кажется, дорогой доктор, эксперимент удался, — сказал он, постукивая коленым ногтем по светящемуся циферблату, — они идут без остановки шестьдесят шесть часов, а испытания рассчитаны на трое суток. Пора нам и отдохнуть. Эти твари надеются на обещанную свободу и выдержат все. Вы, доктор, може-

те не беспокоиться: тайну испытаний я гарантирую. Они проживут на воле не более пяти минут.

— Ни в коем случае, — не поворачиваясь, резко ответил тот, кого называли доктором, — они мне нужны живыми, чтобы наблюдать в натуре остаточные действия препарата.

Доктор внезапно рассмеялся и, беря офицера под руку, дружелюбно сказал:

— Это вам не надо беспокоиться, мой друг. Когда кончится действие препарата, подопытные будут лежать минимум сутки и спать мертвым сном. Поднять их сможет только новая доза. Препарат — результат многолетних исследований. Он должен повысить боеспособность солдат фюрера. Об испытаниях известно Гимлеру. Подопытные должны жить, пока не будут проведены все наблюдения, не сделаны все необходимые анализы. Что бы ни случилось, они должны быть живыми. Предупредите охрану. — Он не торопясь закурил и подчеркнуто сухо закончил:

— Возможно, на этой дорожке сейчас решается судьба Германии. Надеюсь, вы понимаете, что повлечет за собой остановка или срыв опыта.

Офицер щелкнул каблуками сапог:

— Так точно, господин доктор, соответствующие распоряжения будут сделаны.

Доктор замолчал, пристально вглядываясь в идущих.

Они шли свободным легким шагом хорошо тренированных людей. Полотно дороги часто менялось: кончался асфальт, начиналась булыжная мостовая, затем следовал песок, щебень, галька, глина, бетон и, наконец, вода. Потом все эти виды искусственных и естественных покрытий чередовались вновь.

Каждый день в любую погоду по этой дороге маршировали штрафники. Двести человек шли колонной по пять в ряд, подхлестываемые отрывистыми, как удар бича, словами команды:

— Айн, цвай, драй, фир... Айн, цвай, драй, фир...

Норма — сорок кругов. Сорок кругов — сорок километров. На спине у каждого груз в тридцать два килограмма. Все штрафники похожи друг на друга неестественной худобой, обветренной задубелой кожей лица и темными ямами глубоко запавших глаз. Поло-

сатая одежда полностью обезличивает их. Только ботинки у всех разные: на кожаной и на резиновой подошве, мехом внутрь и мехом наружу, с подковками и без подколок. Каждая пара чем-нибудь отличается от остальных. Ботинки выдаются новые. Менять их нельзя. В конце месяца экспертная комиссия с обувных фабрик тщательно осматривает подошвы, каблуки, ранты, верх и шнуровку. Фиксируются все признаки износа, разрабатываются предложения и рекомендации по улучшению качества. Некоторые образцы бракуются. Вместо них поступают другие. И снова от зари до зари по кольцу дороги ползет колонна, как четырехсотная полосатая гусеница:

— Айн, цвай, драй, фир...

Редкий человек оставался в живых, походив по этой дороге в течение трех месяцев. Упавшие не поднимались. Их уносили в лагерный лазарет, предварительно сняв ботинки. Заключенного списывали. Ботинки хранили, как зеницу ока, до приезда комиссии. Иногда отчаявшийся штрафник, собрав последние силы, выскакивал из рядов и бросался на проволоку заграждений. Ток высокого напряжения убивал мгновенно. Колонна двигалась, не замедляя шага, а над головами несло сводящее с ума:

— Айн, цвай, драй, фир... Айн, цвай, драй, фир...

Четыре дня назад, после вечерней поверки, в штрафной блок прибыли двое штатских и офицер. Заключенным велели раздеться донага, и низенький толстый человек в очках с выпуклыми линзами быстро осмотрел и ослушал всех. Он отобрал троих штрафников и вывел в отдельное помещение. Вторично тщательно осмотрел каждого из них, подробно расспрашивая о здоровье, о том, когда какими болезнями болел. Второй, в кожаной куртке, выполнявший обязанности переводчика и санитаря, аккуратно записал ответы. Сухопарый подтянутый офицер, молчавший во время осмотра, брезгливо поморщился, глядя на отобранных, и заискивающе сказал:

— Ходячие покойники, доктор. Может быть, взять из общего лагеря? Там выбор лучше и больше.

Доктор покачал головой:

— Мне нужны тренированные, втянутые в ежедневную ходьбу. Вы представляете, что будет, если

они потрут ноги и опыт сорвется из-за такого пустяка? Нет, нет! Пойдут эти.

Эти — пожилой, высокий, с черными энергичными глазами испанец, маленький, подвижной, крепко сложенный поляк средних лет и совсем молодой длинноногий русский парень — стояли рядом и тревожно переглядывались.

Офицер подошел к ним вплотную и негромко сказал что-то по-немецки. Испанец и поляк, соглашаясь, молча нагнули головы. Офицер обратился к русскому:

— Ты понял?

— Нет.

Запинаясь, с трудом подбирая слова, офицер объяснил по-русски:

— Доктор делал хороший сильный лекарство. Ты кушай один пилюль — сон нет, усталость нет. Через три час кушай один пилюль, опять сон нет, усталость нет. Вы будет получать один пилюль через три час и ходить три дня. Вы будет получай много хорошо кушай и сигарет. Вы ходить три дня. Потом — свобода. Комендант выпускает из лагерь.

В лагере никогда никому не обещали свободы. Русский парень вздрогнул и живо повернулся к своим товарищам, но, увидев их опущенные глаза, сник и уже равнодушно кивнул. Щемящее чувство неотвратимой беды овладело им, горячей волной ударило в голову, застучало в висках, путая мысли. Их сразу отделили от остальных штрафников и сытно накормили.

На следующий день впереди испытателей обуви шли три человека. Знакомая каждым камнем, каждой выбоиной дорога тянулась круг за кругом, километр за километром. Издали эхом неслось:

— Айн, цвай, драй, фир...

Все было, как всегда, серо, тоскливо, безнадежно: высокая серая каменная стена с проволочным навесом на высоковольтных изоляторах, хитрая паутина проволочных заграждений у основания стены, серые дощатые бараки и серая лента дороги, пропитанная потом и страхом, кровью и ненавистью.

В отличие от всех штрафников, идущие впереди не несли груза. Им разрешили курить и разговаривать с одним условием: не останавливаться ни на минуту.

Вечером штрафная команда удалилась в свой загон, на апельсплаце выстроились для вечерней поверки десятки тысяч заключенных, а три человека продолжали идти без отдыха, без остановки. Лагерь встревожился: шепотки, вопросы, догадки, но никто ничего определенного не знал. Поверка кончилась. Когда всех развели по баракам, у ажурной решетки ворот остановилась легковая машина. Из нее вышел штатский в кожаной куртке. Он посмотрел на часы, сказал что-то часовому и пошел рядом с тремя штрафниками. На ходу раздал термометры, поочередно посчитал у каждого пульс. Результаты записал в блокнот.

Заключенные шли тяжело дыша, подволакивая на ходу натруженные ноги. Глухо шаркали толстые подошвы солдатских ботинок, сильно пахло мужским потом. Изможденные лица, наклоненные вперед, казалось, падающие тела, безвольно тупое выражение глаз — все говорило о крайней усталости.

Санитар достал из кармана плоскую коробку, напоминающую портсигар, вынул из нее три белых таблетки и вручил каждому со словами: — Глотайте сразу, не бойтесь. Если кому надо запить, дам воды. — Из другого кармана вытащил фляжку, отдал испанцу. Тот не глядя сунул таблетку в рот, отклебнул из фляжки, передал поляку. Никто из заключенных не сказал ни слова. Так же тяжело шаркая подошвами по камню, они продолжали идти вперед. Лучше других чувствовал себя русский, но и его силы истощались. Усталость, нечеловеческая усталость туманила мозг, гася сознание. Тело отказывалось повиноваться. Не помогла даже привычка ежедневно проходить срок километров. Хотелось упасть прямо на камни дороги и лежать не шевелясь.

Но вот что-то изменилось: стало легче дышать, выпрямилась спина, походка стала легкой, упругой, обострился слух, прояснилось сознание. Мысли рождались ясные, четкие, смелые. Резко улучшилось зрение: в полутьме начинающейся ночи он ясно видел сторожевые каменные башни, врезанные через сто метров в прямоугольник лагерной стены, спаренные стволы пулеметов на открытых площадках и часовых, сутулящихся возле них. Он посмотрел на своих товарищей. Испанец и поляк бодро маршировали рядом,

словно и не лежал за ними путь в шестьдесят километров.

Сопровождающий санитар моментально отметил перемену. Он снова раздал термометры, посчитал пульс, записал данные в блокнот, похлопал по плечу поляка.

— Вперед, ребята! Еще два дня и свобода! Доктор — хороший человек.

Он незаметно отстал и скрылся в проеме ворот.

— Тен доктор — скурвы сын, — прохрипел поляк, злобно косясь на лагерные ворота, — злодий перший.

Через полчаса вновь появился санитар, передал на ходу толстые ломти хлеба с маслом, ветчину, шоколад, фляжки с кофе.

— Добже, пани, добже, — удовлетворенно ворчал поляк, допивая остатки кофе. — Германы, пше крєв, то добры хлопаки: гонят на погибель и есче швининой кормят.

Он обогнал русского, вопросительно заглянул в глаза: понял ли шутку?

— Живы будем — не помрем, — в тон ему ответил русский.

В эту минуту он искренне верил, что все будет хорошо, что они будут живы и свободны. Усталости как не бывало. Тело гибко, сильно и послушно.

— Ты кто естэсь? — продолжал поляк.

— Был шофер, был солдат, сейчас — арестант.

— Матка боска! Цо вы мовите, пан солдат? Имею сказать пану солдату... Живы не будем.

Это было сказано так уверенно, что все надежды мгновенно разлетелись в прах. А поляк говорил и говорил. О том, что видел за пять лет жизни в лагерях, о том, что еще ни один узник не был освобожден фашистами.

— Ты хцєшь звольнитэся — беги. Али не верь германам. Не верь! Тен доктор, тен офицер СС забіють нас. Капут нам.

Испанец, внимательно прислушивавшийся к разговору, неожиданно повернулся к русскому:

— Комарадо, — он ткнул русского пальцем в грудь, — но капут. Но, но! — Он темпераментно жестикулирует, блестят в сумерках живые черные глаза.

Почти без слов объясняет что русский — молодой, здоровый, что он выдержит испытание.

Поляк не соглашается:

— Вшистко едно капут: забивют после.

Испанец горячится, бьет себя кулаком по груди, почти кричит:

— Капут! — И, указывая на поляка: — Капут! — Похлопывает русского по плечу: — Русский комарадо, но капут.

Они прошли не один километр, пока научились понимать друг друга. Испанец согласился с поляком, что добра от немцев ждать нечего, если даже они и выдержат трое суток и не умрут на ходу, что путь на свободу только один — побег. Бежать из лагеря невозможно. Но если удастся попасть за ворота, надо использовать малейшую возможность, а для этого придется выдержать испытание до конца.

Через три часа возбуждение постепенно прошло. Снова подступила усталость. Не хотелось говорить, слушать, смотреть. Ноги передвигались автоматически. В голове появился шум. Мысли текли вялые, обрывистые, как с тяжелого похмелья.

Прибыл санитар, и все повторилось в том же порядке.

Пользуясь лагерным жаргоном и жестами, к концу второго дня они рассказали о себе друг другу все, что могли. Выяснили, что испанец за два месяца прошел в штрафной команде путь, равный расстоянию от Берлина до Мадрида. Сейчас он мог бы подходить к своему дому. Поляк побывал бы дома и вернулся назад. Русский подходил бы к Днепру. Теперь они шатали молча, угрюмо поглядывая в сторону ворот, где снова стояли доктор и офицер.

Отглядев идущих, доктор, попыхивая ароматным дымком черной сигары, благодушно сказал:

— Первый этап закончился благополучно. Мы довели усталость до предела и когда они уже валились с ног, дали таблетки; с тех пор миновали целые сутки, и они идут, как и в первый день.

— Будем надеяться, будем надеяться, — подхватил офицер.

— Надеяться надо в основном на русского парня, — перебил доктор, — он молод, абсолютно здоров и вынослив. Наблюдения показывают, что у него очень хорошее сердце.

— Но ведь можно было отобрать всех молодых? — спросил офицер.

— Отбор сделан с учетом возраста, мой друг, — снисходительно пояснил доктор, — меня интересует, как отзовутся возрастные изменения сердца на действия препарата. Я не удивлюсь, если первым не выдержит старый испанец.

Испанец упал в полдень третьего дня. Упал внезапно, судорожно хватаясь руками за грудь, словно ему не хватило воздуха. Длинное сухое тело лежало на дороге головой вперед. Открытые черные глаза смотрели вслед тем, двоим. Издали казалось, что он ползет по острым камням дороги, не желая отставать от товарищей.

— Разумеешь, пан Василь? — спросил поляк, не оглядываясь, — перший умер.

— Понимаю, Янек, — русский сжал кулаки, — не дошел Антонио. Но мы еще держимся. Как ты себя чувствуешь?

— Вшистко в пожонтку.

— Крепись, дружище, может быть, мы что-нибудь придумаем. Вот если бы погас свет, когда приезжает санитар... днем все будет труднее... Ты не боишься попробовать?

— Пасть мне трупом, если я спшедам камерада! — гневно воскликнул поляк. Он грязно выругался, мешая польские и русские слова и, немного успокоившись, добавил:

— Иди, Василь, иди. Я буду думать.

К вечеру этого дня поляк ослаб так заметно, что встревоженный доктор в сопровождении санитара прошел рядом с ним два круга и велел выдать одну таблетку сверх нормы. Реакция, как всегда, была быстрой, и поляк бодро шел часа два. Уже стемнело, когда он снова начал отставать.

— Что с тобой, Янек, тебе плохо? — спросил русский, замедлив шаг, — обопрись на мою руку. Сейчас темно, они не увидят.

— Дзенькую (благодарю), Василь... сердце... — он замолчал. В темноте нащупал руку русского, сказал глухо:

— Тщимай, (держи) пани Василь, тщимай крепко. То естэм половина моих таблеток за остатни часы. То

есть сила. Утро (завтра) тебе надо много-много силы, — он положил на ладонь Василью половинки таблеток.

— Не надо Янек, проглоти их сам. Ведь до утра осталось немного.

Тело поляка заметно отяжелело. Ноги волочились по земле. Он почти повис на руке Василия и говорил отрывисто, как в бреду:

— Мне капут, Василь... сердце... Тицимай, тицимай крепко... Ты солдат, ты шофер... света не будет... забий вахтмана... брама (ворота) открыта... машина... — Поляк заторопился. Нет, он не упадет. Пока свет прожектора в стороне, пусть Василь поднимет пару добрых булыжников. Сейчас подъедет санитар. Он даст таблетку, и сразу станет легче. Пусть Василь будет готов ко всему.

Мягко шелестя шинами по асфальту, к воротам подошла машина. Поляк напрягся, как струна, и яростно скрипнул зубами:

— Знов доктор, пшя крев. Али впишто едно... — Он рывком оторвался от русского и шел рядом с ним, пока не встретил санитаря. Вручив таблетки, санитар, как обычно, выждал несколько минут и на ходу начал считать пульс у русского. Они приблизились к воротам, где рядом с часовым стоял доктор. Вдруг поляк, не размахиваясь, ударил санитаря камнем в затылок и шагнул к проволочным заграждениям. В свете прожектора на асфальте легла четкая тень поляка. Она подняла над головой огромные кулаки и сразу сломалась, падая на проволоку. Свет погас.

— Держите второго! — испуганно взвизгнул доктор. Часовой бросился к русскому: — Хальт!

Сокрушительный удар булыжником в лицо, и часовой повалился на спину. Василь на лету подхватил падающий автомат, в упор резанул короткой очередью по доктору и прыгнул в машину.

Надрывая душу, завывала сирена тревоги. Вспыхнул аварийный прожектор. Слепящий луч бешено заметался по лагерю, развернулся над стеной и накрыл несущуюся на предельной скорости машину.

В догон ей с разных сторон со сторожевых башен ударили пулеметы. Огненные струи трассирующих пуль скрестились в одной точке.

Обыкновенная история



а в утренней поверке пересчитаны все живые и мертвые — все налицо.

— Шапки надеть! — рявкнул рапортфюрер. — По рабочим командам строиться!

Безукоризненный строй полосатых, как зебры, заключенных сломан. Сорок тысяч человек рассыпаются по огромной площади, чтобы через десять минут занять свое место в колоннах рабочих команд.

...Они встречаются на условленном месте около сигнального колокола. Останавливаться нельзя.

— Как собачки? — на ходу бросает коренастый, одетый в испачканный утлем халат.

— На ужин — суп из галет. Подвезу к обеду на тачке. Один пакет в пользу наших, — скороговоркой роняет высокий.

Они расходятся к местам построения своих команд, не обменявшись ни взглядом, ни жестом.

Команды построены. Гремит медью труб лагерный оркестр, которым руководит дирижер с мировым именем.

Руки по швам, подбородки вверх, по пять человек в ряд проходят полосатые скелеты через браму — лагерные ворота, снимая одновременно шапки.

— Руки из карманов! Руки из карманов! — кричит один из лагерных фюреров (у них все фюреры!).

— Кости из карманов! — поправляет его комендант.

Эсэсовцы смеются шутке начальника.

В колонне «лесной автопарк» идет коренастый в грязном халате. Взгляд привычно скользит по колючей проволоке, натянутой на высоковольтных изоляторах, шаги автоматически попадают в такт марша. Он думает о товарище, который работает в питомнике служебных собак, охраняющих лагерь, готовит пищу на несколько сотен псов и всегда сыт.

Собачий суп и каша — это харч богов по сравнению с лагерной баландой. Он живет на собачьем корме, отдавая весь свой паек соседям по бараку. Большого требовать от него нельзя. Если поймают и уличат в краже — труба. Обычная смерть от пули, веревки, газа — не страшна. На питомнике смерть особая: там провинившегося заставляют бежать и пускают вдогонку собак. Это называется — «практическое занятие». И все же собачий повар помогает как может: крадет продукты и сообщает, когда и где их можно взять.

Его мимоходом брошенные слова означают, что он будет получать со склада галеты в пачках и что возить их он будет на тачке до обеда. В тачке около кухни от двенадцати до часа дня, когда обедают все, кроме постов внешней охраны, можно взять один пакет.

Обед у немцев — святое время. Ушли все заключенные и все фюреры.

В высоком дощатом заборе, разделяющем «лесной автопарк» и собачий питомник, коренастый осторожно отодвигает тесину, из нижней части которой заранее выдернут гвоздь.

Все спокойно: псы на привязи. Они доедают свой обед, вылизывают до блеска миски. Людей не видно. Стараясь не шуметь, он пролезает в дыру, и доска становится на место. Через несколько минут он уже рядом с кухней. В тачке два пакета галет. Остальные внесены в помещение. Вскрыть пакет и рассовать в карманы штанов и за пазуху увесистые собачьи галеты и бумажную обертку — минутное дело.

Бесформенный просторный халат идеально скрывает краденое.

Коренастый быстро уходит от кухни, но внезапно

поворачивает опять к тачке, хватает второй пакет и тут же слышит отрывистое:

— Хальт!

Заклоченный номер 67938 замирает. Смотрит немигая. Неровно остриженная голова обнажена. Шапка в правой руке плотно прижата к бедру. Все согласно лагерному порядку.

Ротенфюрер — длинный, щегольски одетый эсэсовец с подвижным смуглым лицом — брезгливо разглядывает затасканные деревянные колодки, испачканный углем халат, широкоскулую землистосерую физиономию. Мельком смотрит на номер.

— Русский? Политический?

— Так точно!

— Какой ты политик? Ты — бандит! Ты хотел украсть корм у служебных собак. У собак, которые охраняют тебя, недоносок! Грязная свинья! Что ты дрожишь, старый паук? Сколько лет?

— Двадцать девять.

— На вид шестьдесят, — хохочет ротенфюрер, подмигивая своим подчиненным. Ему хочется блеснуть остроумием перед ними, и весь этот спектакль он разыгрывает только для того, чтобы покрасоваться перед рядовыми.

— Специальность?

— Учитель.

— Точнее!

— Историк.

Фуражки с нашитыми черепами колышутся от смеха.

Коренастому кажется, что это смеется сама смерть.

— Ты попал в грязную историю, историк, — ухмыляется ротенфюрер. — Собаки по праву должны разорвать тебя. Но я не хочу обходить начальство. Порядок есть порядок. Может, комендант решит повесить тебя в лагере, чтобы сорок тысяч бездельников чему-нибудь научились. Ты учитель, и ты дашь им последний урок. А может быть, мы устроим и практическое занятие. И так и эдак у этой истории конец будет один.

Он поворачивается к заключенному спиной и приказывает солдатам:

— Посадите его в пустую собачью будку и закрой-

те дверку. Охранять не надо. Достаточно поставить двух собак. Как-никак для них это практика.

Посмеиваясь, ротенфюрер уходит.

Заключенный номер 67938 лезет в собачью будку. Ему мешают галеты за пазухой, и он на мгновение застывает. Тяжелый удар сапога в зад вбивает его внутрь будки.

— Русская свинья! — слышит он на прощанье. Дверка закрыта. Эсэсовцы оставляют у будки двух звероподобных овчарок.

В будке просторно. Заключенный садится на пол и вытягивает ноги. В голове звучит обрывок фразы: «У этой истории конец будет один». Он не может думать ни о чем другом. Мелкая нервная дрожь охватывает все тело. Страх, подлый страх близкой мучительной смерти гасит рассудок...

Боль в затекших ногах заставляет очнуться. Он пытается повернуться и сесть поудобнее. Из-за пазухи выпадает галета. Упав ребром на пол, она проваливается в широкую щель пола. Попытки достать ее тщетны. Щель пропускает пальцы до земли. Он хватается галету, но вытащить ее невозможно. Забыв о том, что у него целых два пакета галет, он пытается выудить ту, что упала. Ничего не выходит. Тогда, изо всех сил вцепившись в доску, под которой галета, он тянет ее на себя. Доска скрипит и вдруг неожиданно легко поднимается. Снаружи свирепо рычат овчарки. Он хватается упавшую галету и откусывает. Обильная слюна заполняет рот. Голод победил страх. Челюсти с хрустом дробят галету, которую и собакам-то дают в разваренном виде.

«Так и подохнуть можно от обжорства», — думает он, начиная третью галету. И тут взгляд его останавливается на дыре, образовавшейся в полу будки.

— А что если попробовать? — бормочет он и отдирает еще две доски. За тонкой стенкой тяжело дышат овчарки, людей не слышно.

Он встает ногами на землю, отчаянным усилием поднимает на согнутой спине будку и медленно бредет к забору, туда, где на одном гвозде висит доска.

Собаки бросаются на ползущую будку и дважды валят заключенного с ног. Но он упорно продолжает продвигаться вперед, защищенный будкой, как чере-

паха панцирем. И лишь одна мысль неотступно терзает его: «Успею ли до конца обеда?».

Подтащив будку к забору, он толкает рукой дверцу, одновременно прижимая торец будки к доскам. Овчарки грызут будку, доски забора, задыхаются в лае, давятся от злости. А заключенный номер 67938 уже бежит по территории своей команды, бережно придерживая рукой галеты и повторяя про себя в бессчетный раз: «Номер-то вы, паразиты, кажется, не запомнили».



н был старым политическим заключенным. Одним из немногих номеров десятой тысячи оставшихся в живых до апреля 1945 года. Говорили, что он — коммунист, но спрашивать об этом не полагалось.

Лагерная этика запрещает подобные вопросы, оставляя за каждым право рассказывать о себе все, что он найдет нужным. Эти азы лагерных взаимоотношений усваиваются еще в карантине.

Поэтому, попав в сорок третьем году в команду «лесной автопарк», где руководил распределением рабочей силы Юп, я и не думал уточнять биографические данные своего начальника. Я только радовался, что не назначен под начало к бандиту, как называли уголовников всех мастей.

Каково же было мое удивление, когда подойдя вместе с эсэсовцем в звании командофюрера к выстроенным в одну линию новичкам, Юп для первого знакомства разразился свирепой руганью на всех европейских языках сразу.

Немецкие ругательства перемежались итальянскими, французскими и испанскими. Между ними проскальзывали польские и сербские. Весь этот винегрет завершился отборным русским матом. Нелепейшие сочетания слов были смешны, но нам было не до смеха.

Особое внимание в этой речи было уделено мне — единственному русскому — самому худому, высокому и нескладному среди новичков. Заканчивая под веселый смех командофюрера свое великолепное выступление, Юп подбежал ко мне, схватил сильной рукой ворот моего полосатого халата и, энергично подталкивая коленом пониже спины, погнал меня в какой-то сарай, крича во все горло:

— Ты автослесарь? Ты механик?... Ты полосатый глист в обмотках! Ты горшок жидкого дерьма! Сейчас я научу тебя работать, сын паука и лягушки!

От последнего мощного толчка в спину я, как на крыльях, влетел в открытые двери сарая.

Это был большой гараж легковых трофейных автомашин, собранных со всей Европы. Раньше мне приходилось их видеть лишь в кино.

Оглядываясь по сторонам, я заметил, что Юп уже вошел в гараж и, повернувшись ко мне спиной, внимательно смотрит на уходящего в контору эсэсовца.

Как только за ним закрылась дверь, Юп тяжело вздохнул и присел на подножку ближайшей машины. Усталым движением руки отер вспотевшее лицо. Отдыхая, посидел несколько минут с закрытыми глазами, а когда открыл их, я был удивлен вторично: глаза светились искренним дружелюбием. Они то хитро прищуривались, утопая в густых морщинах смуглого лица, то широко раскрывались, искрясь неподдельным смехом.

Юп указал на ступеньку стоявшей рядом машины:

— Садись, сынок. За день настоишься. Какой пи-сарь направил тебя?

Недоверчиво косясь на его могучие рабочие руки и втайне ожидая новых тумачков, я осторожно присел напротив. Торопливо ответил:

— Норвег.

Он удовлетворенно кивнул головой, будто заранее был уверен в таком ответе. Глядя мимо меня в широко открытые двери, спросил:

— Сколько лет?

— Девятнадцать.

— Солдат?

— Был солдат.

— И, конечно, автослесарь?

Его глаза снова смеялись.

Я смущенно промышчал нечто утверждающее.

— Открой капот мотора у той машины, что стоит около входа.

Голубая гоночная машина с изящными плавными обводами двигателя и кабины напоминала по совершенству форм каплю воды. О том, как открывается капот этой красавицы, я мог только догадываться. Растерянно переступая с ноги на ногу, я потоптался около лакированного чуда и вопросительно посмотрел на Юпа, приготовившись получить добрую оплеуху.

Он молча открыл дверцу, нажав рычажок на щитке с приборами — капот открылся бесшумно.

Затем подошел ближе, усмехнулся:

— Ну, солдат, раз уж тебя записали автослесарем, будешь работать здесь. Бери метлу и разметай по полу воду, чтобы весь бетон был влажный. Здесь, — он ткнул пальцем в огромную лужу воды, собравшейся в углублении пола перед воротами, — будешь мести только в том случае, если увидишь эсэсовцев. Для этого надо работать глазами, и работать весь день без перерыва. Если зазеваешься, получишь двадцать пять плетей для начала.

Юп вышел и легким, быстрым шагом, почти бегом, направился к конторе.

Из широких ворот открывался отличный обзор почти всей территории команды. Меня же можно было увидеть только в том случае, если я стану вблизи порога в лужу воды. Учитывая это обстоятельство, я благоразумно передвинулся дальше в тень и, опираясь на метлу, как на костыль, задумался о своем положении: писарь-норвег, говоривший по-русский, узнав по сопроводительным документам, что за дерзкий побег из лагеря военнопленных меня осудили на бессрочную каторгу и что у меня нет никакой специальности, решительно вписал в лагерную карточку «автослесарь».

Потом шепнул:

— Это есть лютча команда. После тюрьма ты слабый. На карьер — смерть, кирпич завод — смерть. Там командуй бандитен.

«Чем же мой новый начальник отличается от бандита?» — уныло размышлял я, не спуская глаз с под-

ходов к гаражу. — Ругается он похлеще любого уголовника, дерется тоже не хуже».

В это время открылась дверь конторы и на крыльце показался командфюрер. Я мгновенно перехватил метлу половчее и так заработал ею, что в брызгах, вылетающих на улицу, засияла радуга. Эсэсовец прошел, не обращая внимания на мою деятельность.

Подсохший к обеду бетонный пол я наскоро полил водой из резинового шланга и снова замер с метлой в руках вблизи ворот, памятуя о том, что надо «работать глазами».

Среди многочисленных гаражей и мастерских сновали по дорожкам, как муравьи, разительно похожие друг на друга люди в полосатой одежде. Казалось, что каждый занят очень важным делом и не может остановиться даже на секунду.

Двадцать заключенных во главе с бригадиром выкатили из гаража огромный грузовик и, упираясь изо всех сил, толкали его к ремонтной мастерской. На небольшом, почти незаметном подъеме машина остановилась. Живые мумии в полосатых арестантских одеждах засуетились вокруг нее, закричали хором что-то непонятное — машина ни с места. Они толкнули грузовик назад, попытались взять подъем с разбега — результат тот же. Бригада перестроилась, но повторные попытки ничего не дали. Внимательно присмотревшись, я понял, что они только делают вид, что толкают машину, а некоторые даже тянут ее назад. Так они топтались часа два.

Вдруг все изменилось: бригадир отскочил в сторону, замахал над головами заключенных палкой, закричал диким голосом, и машина нехотя поползла на подъем. Из-за нее показался эсэсовец.

Метла в моих руках сразу заработала, вода полилась за порог, обильно смачивая сухую землю. В то же мгновение с треском открылась дверь конторки и на крыльце появился Юп, держа за шиворот пожилого француза.

Проклиная лодырей, бездельников и их родню ужасной смесью самых звучных проклятий, он толкнул француза с крыльца. Тот турманом скатился по ступенькам и помчался с быстротой ветра в сторону от подходившего эсэсовца. Мне показалось, что фран-

цуз смеется. Проводив эсэсовца взглядом, Юп не останавливаясь прошел мимо, серьезно спросил:

— Ну как? Бережешь задницу?

Позднее я узнал, что один из неписанных законов лагеря гласил: «Как бы ни работать — лишь бы не работать». В развернутом виде это значило: «Можно ничего не делать, но если хочешь жить — шевелись».

Через неделю, наблюдая из своего убежища за распределением вновь прибывших заключенных, я мысленно благодарил Юпа за первую встречу.

Было семь часов утра. Солнце поднялось еще невысоко, и в прохладном песке, радостно чирикаая, купались воробьи. По синему небу куда-то торопились белые пушистые облачка.

Командофюрер как будто нарочно послал Юпа в контору по каким-то делам, а сам занялся распределением новеньких. Все они плохо понимали немецкий язык. Особенно русские.

Командофюрер, лохотенный длинноногий офицер, был тяжело ранен на русском фронте и зверски ненавидел русских. Поскрипывая лакированными сапогами, он неторопливо прошелся вдоль строя, внимательно разглядывая номера, нашитые на левой стороне груди.

Остановился возле коренастого, плотного седого новичка.

Спросил негромко:

— Русский?

— Русский.

— Солдат?

— Офицер.

— Сколько лет воевал?

— Не понимаю.

Командофюрер оглянулся:

— Переводчик!

Подскокил молоденький эсэсовец, картинно щелкнул каблуками, перевел.

— Два года.

Застегнув черные толстые хромовые перчатки, начальник, не повышая голоса, продолжал:

— Сколько убил немцев?

— Не считал.

Почти не размахиваясь, коротким толчком левой руки немец ударил седого в лицо.

Обливаясь кровью, русский зашатался и повалился на спину, хватая руками воздух. Правая черная перчатка догнала в падении, глухо стукнула в висок.

Ноги упавшего судорожно дернулись.

Брезгливо морщась, убийца осмотрел и тщательно отер перчатки. Спокойно сказал переводчику:

— После вечерней поверки в крематорий. Пусть Юп вычеркнет из списков. Порядок — прежде всего.

Весело светило солнце, и спешили куда-то пушистые облака. Так же радостно чирикали воробьи, ныряя в песок, когда мы с Юпом внесли труп в гараж. Юп записал номер погибшего. Снял свою плоскую, как блин, полосатую бескозырку, смял ее в руках, минуту стоял молча, глядя на убитого. Бесконечно усталое лицо его — сплошная боль. Но только на мгновение. Поворачиваясь, сказал:

— В перчатке свинец. Не зевай, сынок, работай глазами.

Грузно постукивая колодками, он пошел к выходу, но едва переступив порог, побежал бегом.

После рабочего дня колонны заключенных заходят в лагерь под гром духового оркестра. Играют лучшие музыканты Европы. Сверкает медь и никель начищенных труб. Звуки маршей и развеселых песен глушат ликующим ревом стук десятков тысяч деревянных колодок, стоны избитых людей. Многих товарищей ведут под руки, многих несут на носилках. В строю присутствуют все: и живые и мертвые, — пока не сойдется счет.

Убитый эсэсовцем русский, не проработавший и дня, еще числится в нашей команде.

Немецкое радио ежедневно трубило о победах Гитлера, но в лагере никто этому не верил. Какими-то неизвестными путями заключенные каждый день узнавали последние сводки Совинформбюро, и они обязательно подтверждались официальными передачами недели через две, три.

Я видел Юпа ежедневно. Со мной он не разговаривал, да и некогда ему было этим заниматься. Почти все время он находился в движении, стремительно вышагивая по всей территории команды.

В конторку обычно после обеда заходили изредка по одному заключенные. Я заметил, что в это время у окна обязательно стоит уборщик Сашка Смирнов — русский пятнадцатилетний мальчишка. Немцы называли его Алекс. В руках у него тряпка. Он протирает чистейшее стекло, но смотрит только на дверь гаража. Достаточно махнуть мне метлой у порога — и очередной посетитель пулей вылетает в дверь, сопровождаемый немислимой рутанью. Может быть, это было просто совпадение, но именно после обеда команде становилось известной наша очередная сводка.

Я узнавал ее одним из последних на вечернем построении от своего земляка — учителя истории, работавшего в кузнице молотобойцем. От кого узнавал ее он, спрашивать не полагалось.

Однажды осенью к концу обеденного перерыва земляк появился в гараже. Измазанный угольной пылью, в закопченном халате, он, как сумасшедший, ворвался в гараж и бросился в дальний угол, увлекая меня за собой. Там он расстегнул халат и вывалил из-за пазухи целую кучу твердых, как кость, галет, которыми немцы кормили служебных собак. Задыхаясь от быстрого бега, глотая слова, заговорил:

— Спрячь быстро в любую машину. Тут не найдут. Попался на собачьей команде. Позови сюда Юпа.

Юп явился немедленно. Учитель в двух словах объяснил, что номер его эсэсовцы записать не успели. Юп обратился ко мне:

— Твой халат чистый. Обменяйся с ним сейчас же. Алекс принесет иглу с ниткой и кусок мыла. Номер перешить. Этого чумазого отмыть добела.

И к Сашке:

— Потом в бригаду углежогов. Передай — пусть немедленно начинают чистить угольные ямы. На помощь им всю транспортную команду и лесорубов. Чтоб к вечеру все были, как негры.

На вечернее построение прибыли из соседней команды два эсэсовца для розыска похитителя собачьих галет. С азартом выдергивали они из строя всех, у кого халат и лицо были испачканы углем. Но когда таких набралось больше сотни, пыл их угас. Не найдя преступника, они ушли. На учителя, стоявшего ря-

дом со мной в чистом халате с лицом, отмытым до блеска, даже не глянули.

...Тяжело заболев, я пробыл в лазарете дней двадцать, а затем был выписан в другую команду.

Теперь я видел Юпа только издалека утром и вечером, когда он впереди колонны покидал лагерь или возвращался.

10 апреля 1945 года американские тяжелые бомбардировщики бомбили окрестности лагеря. Случайные бомбы падали и на «лесной автопарк».

К вечеру весь лагерь знал о том, что на конторку Юпа упало несколько зажигалок и она вспыхнула, как факел. Юп с товарищами прятался в канаве, когда ему сказали, что в конторе остался Сашка. Одним прыжком он выскочил на отвал, выбил локтем оконную раму и исчез в дыму. Контора уже горела со всех сторон, когда Юп вылез из окна, неся на руках оглушенного взрывом парнишку. В этот момент с противоположной стороны здания взорвалась фугаска. Щитовые стены и крыша рухнули прямо на Юпа. Он упал вниз лицом, закрывая своим телом русского мальчишку от огня и обломков. Сашка остался невредимым. Юп умер мгновенно.

Это была единственная смерть по команде в этот день.

Колонна «лесного автопарка» — две тысячи человек — входила в лагерь последней.

Впереди четверо самых старых политических заключенных несли на плечах носилки с телом Юпа.

Оркестр, игравший какую-то разухабистую песню, внезапно смолк. В наступившей тишине колонна, тяжело печатая шаг, шла к месту построения.

Сорок тысяч выстроенных на плацу заключенных первый раз за все время существования лагеря без команды сняли шапки.

— Почему его все знают? — шепнул какой-то новичок.

— Потому что он жил для всех, — ответил мой сосед.

Комиссары



Сухая приазовская степь, палящее солнце, многочисленные противотанковые рвы и пыль, тучей повисшая над дорогой, — таким запомнился мне август сорок второго года.

Колонны пленных под конвоем немецких автоматчиков двигались к Таганрогу. На многих еще сохранилась армейская форма, и, хотя люди шли босиком, они выглядели солдатами.

Впереди, отделенные двадцатиметровым интервалом, под усиленной охраной шли командиры и политработники Красной Армии. Большинство без знаков различия, некоторые в солдатских гимнастерках. Среди них выделялся могучей фигурой и какой-то подчеркнуто строевой статью полковой комиссар, сохранивший шталы в петлицах и звезду на рукаве. Правая рука его была аккуратно забинтована и висела на груди на белой марлевой косынке. Покрытые дорожной пылью волосы издали казались седыми, а может быть, и действительно были седыми.

Пленные шли молча, задыхаясь от пыли. Они не пили с раннего утра, и жажда пересиливала все, даже голод. На подходе к станции Синявской колонну встретили легковые машины. Несколько фашистских офицеров в невиданной черной форме, с черепами, нашитыми на высоких фуражках и рукавах, подошли к колонне. Пробежал вдоль рядов переводчик, закричал:

— Всем снять штаны!

— Что ж они, без штанов нас через станицу поведут? — возмутился кто-то.

— Молчи. Они евреев ищут, — объяснил более опытный.

Стыдливо потупив головы, пленные по одному проходили мимо черных мундиров.

Время от времени черные выхватывали из шеренги полуголых людей. Отобранных строили отдельно. Кончив осмотр рядовых, перешли к командирам.

Переводчик объявил:

— Евреям выйти из строя.

Вышел один комиссар. Начальник черной команды шагнул навстречу, преграждая путь:

— Вы не еврей!

Комиссар властно повел рукой, убирая его с дороги, и направился к группе ранее отобранных пленных. Он прошел рядом с нами твердым строевым шагом.

— Зачем вы идете, комиссар? — крикнул мой сосед, высунув из рядов голову обмотанную бинтами, как чалмой. — Вы же русский!

— Это мои бойцы, Петр, — не останавливаясь, спокойно сказал комиссар и, чуточку замедлив шаг, добавил: — Прощай, друг. Так надо.

Стопудовая тишина придавила людей. Беспощадно жгло солнце. Хрустнул пересохший бурьян под ногами уходящих на смерть. Вот они остановились на краю глубокого противотанкового рва. Повернулись к нему спиной. Отрывистая, как собачий лай, команда. Комиссар шагнул вперед, крикнул что-то — залп заглушил слова.

Сосед схватил меня за плечо, сильно сдавил, жарко задышал пересохшим ртом:

— Какого человека убили! Какого человека! Мы с ним от границы вместе... Он до последнего патрона... Эх, вы! — и, оттолкнув меня, заплакал.

Март сорок третьего. Город Кельн, высокие крыши, дымные заводские окраины.

Нас — сто человек. Некоторые уже не люди. Они растеряли себя в лагерных мытарствах, опустились, стали попрошайками — «шакалами».

Растравляя потихоньку на ногу рану, мне удастся уже с месяц симулировать нагноение и не ходить на

работу. После уборки барака стою у открытой двери, слушаю, как уныло гудит ветер, как звенит проволока заграждений.

К воротам лагеря подошел открытый грузовик: привезли пополнение.

Это событие. Усиленно хромая, хотя боль и невелика, ковыляю к машине. Обычные вопросы: кто откуда, что слышно нового с фронтов, есть ли земляки среди новеньких?

Один из них внимательно приглядывается ко мне. Он коренаст, широк в плечах. У него крупная, не по фигуре голова, резкие чеканные черты лица, багровый неровный рубец через весь лоб. Что-то знакомое мерещится мне в этом лице со злыми умными глазами. Хромаю к нему. Он спрашивает:

— Вас взяли на Южном в августе сорок второго?

Точно. Он мой сосед по первым дням плена, только теперь без марлевой чалмы.

Мы обнялись, уселись в уголке, по-приятельски закурили. Петр рассказал, что за эти полгода дважды бежал и оба раза был пойман. В последний раз за побег били до потери сознания.

Его назначили в ночную смену сеять формовочную землю. На этой работе было занято много людей, и директор завода приобрел небольшую и просто устроенную машину: миниатюрный передвижной транспортер.

Прорезиненная лента, усеянная металлическими шипами, вращалась на двух валиках, неся на себе землю. В верхней части ленты барабан. Комки земли, смоченной заранее водой, дробятся между шипами ленты и барабана, и земля мокрой мелкой массой вылетает в нужное место. Маленькие кусочки металлического шлака скатываются по ленте вниз, их удаляют вручную. Производительность повышается в десятки раз при одном условии: крупные куски металла не должны попадать на ленту.

В первую смену Петр изучил машину досконально.

Во вторую испортил это чудо техники, подкинув на ленту добрый кусок шлака.

Завод простоял сутки. Оправдывался Петр тем, что в формовочной земле много шлака, что кроме него землю на ленту подавали еще трое.

Ночной мастер поверил. Но мастера дневн

ны, Длинного, фашиста, носящего на руке повязку со свастикой, обмануть было трудно. Он нюхом чуял саботажников и никогда не ошибался.

Размахивая над головой Петра кулаком, он кричал на весь цех:

— Пока тебя, ублюдка, не было на заводе — машина работала. Ты сломал машину, недоносок! Ты коммунист! Ты комиссар!

Петр незаметно подобрался, выпрямился и так зло глянул на Длинного, что тот шарахнулся в сторону и яростно прошипел:

— Перевести в дневную, на заливку форм.

Это был смертный приговор: поднимать шестипуговое ведро с кипящим жидким металлом на высоту полутора метров могли только высокие здоровые люди попарно. Низкорослому Петру было мучительно тяжело работать с высоким напарником.

К великому изумлению всех вольнонаемных немцев, иностранных рабочих и русских пленных Петр выстоял. Но чего это ему стоило! Он худел на глазах, превращаясь в ходячий скелет. Узники делились с ним каждой украденной картофелиной, каждым добытым куском хлеба.

Он ни разу никому не жаловался. Длинный называл его комиссаром. С его легкой руки Петра стали звать комиссаром все.

Немцы произносили это слово с издевкой и нескрываемой злобой, бельгийцы, голландцы и французы — с подчеркнутым уважением, стараясь выговорить трудное слово почище. Во всех случаях, услышав «комиссар», Петр гордо поднимал голову и смело смотрел в глаза. Его не раз предупреждали свои:

— Зачем в петлю лезешь?! Ну какой ты и черту комиссар? Даже в партии не был.

Петр упрямо молчал, но держался с небывалым достоинством.

Дерзкое поведение Петра, личное дело с отметками о двух неудачных побегах и наконец кличка «комиссар», прочно закрепившаяся за ним, привлекли к нему внимание коменданта охраны. Желая похвастать столь редкостным экземпляром, он пригласил Первого мая в лагерь перед вечерней поверкой жену и каких-то штатских приятелей с дамами.

Они явились в праздничных костюмах с маленькими свастиками — украшениями на груди. Долго и бесцеремонно разглядывали пленных через проволоку ворот, как диких зверей в зоопарке. Большинство заключенных сразу же ушло в бараки. Осталось несколько «шакалов», которые, жалко гримасничая и прикидываясь дурачками, выпрашивали у гостей окурки.

Пересмеиваясь и брезгливо морщась, гости постояли у проволоки минут двадцать и направились в кабинет коменданта, удивляясь вслух тому, как такие недочеловеки могут до сих пор противостоять непобедимой армии великого фюрера.

Нарушая установленный порядок, слегка подвыпивший комендант приказал охране построить пленных на вечернюю поверку на два часа раньше обычного.

В окружении своих штатских друзей, галантно подерживая под руку жену, он вошел на территорию лагеря, как цирковой укротитель хищников. Его сопровождали два солдата охраны.

На правом фланге на голову выше всех Васька Генералов, старый «шакал». Приняв рапорт дежурного, комендант подвел к Ваське жену и, коверкая его фамилию, представил:

— Русише генераль.

Васька, насобачившийся говорить по-немецки, чтобы угодить начальству скорчил зверскую рожу и рывкнул, как из бочки:

— Яволь! (Так точно).

Жена и гости коменданта были потрясены. Медленно и торжественно двигались они вдоль строя запаршивевших узников, внимательно слушали сногшибательные характеристики, которыми комендант снабжал своих подопечных.

Вид чистых, здоровых, прекрасно одетых людей, давно забытый запах дорогих духов и хорошего табака угнетающе действовал на обезличенную серо-зеленую массу заключенных.

Может быть, и кончилась бы эта комедия благополучно, но захмелевший комендант, войдя в роль укротителя, решил еще раз удивить своих друзей.

Как артист, исполняющий свой коронный

он вышел вперед, и, вызвав из строя Петра, торжественно объявил:

— Русише комиссар! Главный коммунист! Дважды бежал. Был очень опасен. В моем лагере перевоспитался.

Сильно сдавший за последнее время Петр исподлобья затравленно смотрел на коменданта, ожидая очередной подлости.

А тот, опьяненный вином и успехом, продолжал глядя на него в упор:

— Повторяй за мной: Россия капут, Москва капут, хайль Гитлер!

Строй замер. Две сотни глаз впились в Петра. Гости придвинулись ближе, чтобы не пропустить самый интересный момент. Петр поднял к лицу коменданта правую руку, показал ему фигу и спокойно спросил:

— А это ты нюхал?

Обвальный хохот за его спиной ударил, как гром среди ясного неба.

Побледневший комендант заскреб дрожащими пальцами кобуру пистолета. Но весь строй шатнул вперед, прикрывая Петра.

Представление было безнадежно испорчено.

Протрезвевший комендант с друзьями спешно покинул лагерь, обещая направить Петра после праздника в гестапо.

Второго мая «Петя-комиссар» — теперь его иначе не называли — подсел ко мне на нары, сказал тихо:

— Все готово: стена барака прорезана насквозь. Сегодня в ночь мы уйдем на Бельгию. Прости, что не беру тебя с собой. Побоялся из-за твоей хромоты. Если сможешь, беги в одиночку или возьми с собой кого понадежнее, — он неожиданно рассмеялся. — А машину я им напоследок угробил окончательно: ленту подрезал с обратной стороны.

Мы ушли втроем в ту же ночь через проволоку по проходу, подготовленному Петром.

В живых нас осталось двое. О судьбе первой группы ничего неизвестно.

Жив ли Петр?

Если жив, отзовись, комиссар!

Содержание

В. Мазаев. Об авторе этой книги	3
Ответственный рейс	7
Тузик	14
Червяков	26
Выходной день Тягунова	35
Завтра связи не будет	41
Один за всех	51
Замкнутый круг	63
Обыкновенная история	72
Юп	77
Комиссары	85

**Власов
Владимир Аскольдович**

**ЗАВТРА
СВЯЗИ
НЕ БУДЕТ**

Рассказы

**Редактор Л. Глебова
Художник В. Климов
Художественный редактор
Г. Кравцов
Технический редактор
Г. Адова
Корректор Т. Трусова**

Сдано в набор 25.XI.1971 г. Подпи-
сано к печати 17.III.1972 г. Фор-
мат 84×108¹/₃₂. Бумага типограф-
ская № 2. Усл. печ. л. 4,83. Уч.-изд.
л. 4,61. Тираж 15000 ОП90770.
Заказ 11348. Цена 15 коп.

Кемеровское книжное издательство,
Кемерово, 99, Ноградская, 5.

Полиграфическое объединение
«Томь».
Кемерово, 99, Ноградская, 5.

Цена 15 коп. 102



КЕМЕРОВО 1972